

Владимир АЛЕЙНИКОВ

В ЧАСЫ ТРУДА

— Сколько ты книг написал, вот за эти несколько лет, пока мы с тобой не виделись или почти не виделись? — почему-то пытливо, но мне показалось — отчасти ревниво, хотя такой вопрос вполне мог быть и просто-напросто проявлением обычного людского любопытства, спросил меня Андрей Битов, когда мы с моей женой Людмилой навестили его в самом начале семьдесят девятого года, еще зимой, в его большой, по нашим тогдашним понятиям, пустоватой и не то чтобы запущенной, но без явных примет уюта квартире, в панельном доме, бирюком стоявшем в окружении ему подобных, посреди снегов, далеко от центра столицы, в одном из густо и пусто застроенных городских районов. — Наверное, книг пять написал?

— Девять книг, — сказал я.

Андрей поднял брови и округлил близорукие глаза.

И принялся заваривать чай по маминому способу, вначале обдавая внутренность маленького заварного чайника крутым кипятком, потом выливая этот дымящийся кипяток в раковину, потом засыпая в чайник заварку, потом тщательно закутывая ровно наполовину залитый кипятком чайник ловко пристроенной сверху плотной, теплой тряпочкой и давая чаю возможность хорошенько настояться — и только потом уже, минут через пять, когда чай основательно настоялся и пахнул как следует, как ему, чаю, полагается пахнуть, в чем Андрей самолично не преминул убедиться, развернув тряпочку, приподняв крышечку чайника и придиричиво понюхав ароматный пар — и тут же, уже полностью, залив неглубокую, прямо темнеющую утробу разогревшегося пестренького чайника все еще дымящимся, может, просто по инерции, а может, и по другой какой причине сизовато-белесым, хлористым кипятком, неторопливо, по-хозяйски привычно, по-дружески щедро, наконец разливая в заранее расставленные на пустынном кухонном столе чашки густую, коричнево-черную, крепкую заварку, заполняя каждую чашку до краев тем же, видимо никогда не иссякающим, дымящимся кипятком из ничем не примечательного, кроме своей вместительности, крутобокого чайника для кипячения воды, на всем протяжении процедуры этой поминая свою маму, Ольгу Алексеевну, добрым словом.

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

И вот через девять дееспричастных оборотов мы втроем сидели на кухне и пили чай. Чай на троих.

До тех пор, покуда не пришел приятель Андрея, писатель Юра Коваль, и не принес водку.

Был Коваль в данном случае не столько писателем, сколько спасателем. Водка нужна была двум приятелям для поддержания жизненных сил.

Вместе с водкой принес Коваль и взятый им на прочтение только что изданный «Ардисом» роман Битова «Пушкинский дом», вся история написания которого прошла на моих глазах, а с возвращенной книгой принес он в холодную квартиру и свои горячие восторги. Согревала, конечно, и водка.

По комнатам гулял сквозняк. В форточку с улицы залетал мелкий, долго не тающий снег.

Мы с Людмилой заторопились домой. Простились. Вышли на лестничную площадку.

Слышно было, как за нашими спинами звонко хлопнула форточка в кухне и глухо ухнула входная дверь.

Там, позади, в квартире, остались подаренные мною Андрею картинки и объемистая самиздатовская рукопись — недавно, чуть ли не накануне нашего приезда сюда, составленное и на больших и плотных листах бумаги, формата, как теперь любят, столкнувшись лбом ко лбу со свободным книгопечатанием, говорить, А4, довольно густо, но аккуратно перепечатанное на приобретенной минувшей осенью, в ущерб семейному бюджету, по причине острейшей необходимости, то есть — для работы, югославской машинке «Унис», портативной, легонькой, с таким симпатично скругленным, приятным для глаз, маленьким шрифтом, в трех экземплярах, лучший из которых был выбран старому товарищу в дар, избранное, из новых, на то время, почти никому еще не известных, — немного позднее, месяца через два-три, они начнут свое подспудное, но неуклонно увеличивающимся количеством копий, то есть с неуклонно разрастающимся машинописным их тиражом, хождение по всей стране и за ее пределами, и знать их будут уже весьма многие любители и ценители не издававшейся при советской власти официально, но по причине тогдашнего нашего, всеобщего, противостояния этой власти, да еще и наперекор ей, из всегдашнего нашего упрямства, еще как «издававшейся», домашним способом, отечественной поэзии — пяти моих книг.

— Слушай! Ты же большой поэт! — сказал мне Женя Рейн в восемьдесят шестом году, перебирая, листок за листком, лежавшую перед ним на захламленном столе большую самиздатовскую перепечатку моих стихов, которую я давал ему на прочтение, да так потом у него и оставил.

Вид у него при этом был несколько изумленный.

По всему выходило, что ознакомился он с моими писаниями совсем недавно, может быть — только что, перед моим приходом.

Я посмотрел на него с некоторой грустью — и ничего не сказал.

Он, раздувая и без того толстые губы и пыхтя, этак вдохновенно даже, во всяком случае — оживленно, а может, и в самом деле заинтересованно, продолжал перелистывать мою перепечатку и при этом еще и зачитывал вслух отдельные, выхваченные из стихов, это чувствовалось наугад, но, в его подаче, особенно пришедшиеся ему по вкусу куски.

Я работал тогда редактором в издательстве «Современник».

Оказался я там совершенно случайно.

В восьмидесятых я перебивался мелкими заработками. Надо было кормить семью. У нас с Людмилой росли две дочери — Маша и Оля. Постоянно нужны были деньги —

на всевозможные домашние нужды, а их, этих самых денег, столь же постоянно или, можно сказать, хронически или не было вовсе, или же для более-менее нормальной жизни просто-напросто не хватало.

Вот я и подрабатывал, где придется.

Некоторые мои доброжелатели давали мне возможность немного заработать, сочиняя так называемые внутренние рецензии для издательств.

Платили за эти труды мало, хотя читать приходилось мне очень много рукописей — целые горы их громоздились в комнате, и каждая из них ждала объективной рецензии.

Все это отнимало массу золотого времени.

Однако я смирял себя, как умел, уж как получалось, и честно отрабатывал свои средства к существованию, как я обычно заработки свои, нерегулярные, а то и вовсе редкие, странным, даже диковинным порою, прерывистым пунктиром проходящие сквозь всю непростую жизнь мою, несколько иронически, вроде бы хорохорясь, храбрясь, да все же с изрядной долей привычной, увы, печали и с прорывающимся наружу из-за десятилетиями создаваемой стены терпения горьким вздохом, вовсе не на людях, конечно, — Боже упаси! — а в своем кругу, среди своих, среди тех, кого я хорошо и давно знал, кому верил безоговорочно, с кем пудами ел пресловутую соль юдольную, тогда называл.

Постепенно к моим рецензиям стали в издательствах относиться с интересом, все более возрастающим, а потом и с нескрываемым вниманием, тоже все увеличивающимся.

Со мной даже стали советоваться — иногда.

Мне даже стали специально заказывать — видимо, как знатоку поэзии и вообще литературы, не иначе, — рецензии на спорные или особо важные рукописи.

Мне даже стали чуть больше платить.

Некоторые издательские работники начали настоятельно мне советовать сделать из моих рецензий книгу статей о современной советской литературе, и даже не одну, а несколько книг.

Тут-то я и забил тревогу.

Выслушав однажды очередные похвалы — как не просто потенциальному, а давно сложившемуся, как выражались в издательствах, литературному критику, возвратился я домой и призадумался.

Обычно я оставлял себе третий экземпляр каждой рецензии — на всякий случай, так полагалось, так принято было.

Посмотрел я внимательно, напрягшись весь и сощурившись, как это у меня бывает, говорят, перед решительным поступком, на кипы этих самых рецензий — и ярость меня охватила.

«Да что же это такое? — подумал я вдруг. — Да зачем все это мне нужно? Сколько же еще месяцев, а то и лет вся эта бредятина, совершенно ненужная мне, будет продолжаться?»

Нет, хватит! Баста!

Ринулся я к ставшим в одночасье ненавистными для меня кипам рецензий, схватил в охапку столько этого добра, сколько мог за один раз унести, а потом — к двери, а потом — к мусоропроводу — и, сминая и заталкивая вовнутрь густо испечатанные листы, выбросил все, что было у меня в руках.

Так вот, в несколько приемов, и выбросил все рецензии в мусоропровод.

И сразу — успокоился.

Полегчало. Нет, отлегло.

Светлее как-то стало на душе.

Мудрая жена моя Людмила меня не удерживала.

Наоборот — поддерживала.

На моей была стороне.

Я это чувствовал. Нет, понимал.

Понимал, что она-то все понимает.

— Ну и ладно! — сказала Людмила. — Пиши свои стихи! — а потом, подумав, добавила: — А для заработка займись-ка посерьезнее переводами.

И я, покончив с писанием рецензий, занялся переводами. И дело у меня почему-то пошло, на ура — не скажу, потому что бывали и трудности, но, однако, пошло — по нарастающей.

Все равно ведь стихи мои не издавали!

Так хотя бы какие-то публикации...

Как на духу говорю, признаюсь, потому что чего там скрывать и зачем, — все равно ведь все эти тексты, на основе подстрочников, разумеется, но — свой арсенал изобразительных средств используя, свои возможности каждый раз проверяя, свое дыхание им дав и свет свой, — сам я тогда писал.

Но это было позже.

А пока что я канителился с внутренними рецензиями.

Кто-то из доброжелателей предложил мне написать такие рецензии для «Современника».

Привыкший делать все на совесть, вместо коротеньких рецензий я написал несколько обстоятельных статей.

Они поразили воображение издательского начальства.

Мне, человеку без всякого социального статуса, в досталь нахлебавшемуся разной горечи и отравы, так и хлеставшей из прошлых, с немалыми трудами прожитых и чудом, наверное, пережитых, застойных, как привыкли у нас выражаться, а по мне — так моих, а не чьих-нибудь, пусть и кошмарных, но зато и всегда озаряемых творчеством лет, навидавшемуся в этом еще довольно близком далеке такого, чего и врагу не пожелаешь, намаившемуся за десятерых в этом столь памятном отдалении, будто всего-то в каких-нибудь нескольких шагах находящемся, ну пусть не шагах, а в нескольких километрах, не все ли равно, в качестве прошлого еще и не воспринимавшемся даже, а просто грустным, земным, человеческим опытом отзывавшемся, из всех этих бездомии, неурядиц, скитаний, бед, из упрямства, тоски, обретений, из желания выжить, из всего, что со мною стряслось, что хотел я с себя стряхнуть, чтобы дальше идти вперед, чтобы чутя свой верный путь, из всех этих противоречий, еще не вполне устоявшихся в сознании, чтобы осмыслить их, как это произошло несколько позже, на более длительном временном расстоянии, уже в девяностые годы, на закате столетия, даже прямо сейчас, только что, в любое из возникающих и тут же уходящих, тут же прожитых, пережитых мною, не поймешь уже — то ли сызнава, то ли внове, мгновений клубящейся где-то поодаль, но и вроде бы находящейся — вот она — рядом, ненастной и ясной, туманной и чистой, как небо в окне, над Святою горою, эпохи, — ну так вот, — мне, тогдашнему, тогда уже немолодому, затравленному, с некоторой опаской оглядывавшемуся вокруг, с трудом приходящему в себя, — вдруг с ходу, с места в карьер, ни с того ни с сего, почему — неизвестно, просто так, от щедрот, от души или, может, почувствовав просто, что справлюсь, предложили работать у них редактором.

Идти на советскую службу мне не хотелось.

Но друзья — ох уж эти друзья! — или те, кто казались друзьями? — не знаю, поди разберись, да и надо ли в этом теперь, на закате столетия, вдруг разбираться? — уломили меня, уговорили-таки преодолеть давнишнее отвращение ко всякого рода государственным учреждениям, убедили пойти на редакторскую должность — хорошо зная мою

отзывчивость и серьезное отношение к дружбе и, понятное дело, надеясь, что уж я-то, наверно, сумею помочь хоть кому-нибудь из общих знакомых с изданиями.

Да еще и Людмила сказала:

— Попробуй! Может, к людям привыкнешь. И люди привыкнут к тебе. Ты поэт — и политикой сроду ведь не занимался. Всем пора бы давно это знать. Что же это выходит? Пишешь ты лучше всех, а живешь — хуже всех. И никто тебе толком ни в чем никогда не помог. Сколько все это будет тянуться? Так чего тебе ждать? От кого? И зачем? Был и раньше ты сам по себе. Сам, такой уж, как есть. Независимый. Гордый. Упрямый. И сейчас ты — такой. Да и впредь ты останешься, знаю, вот таким, как уж есть, всюду — сам по себе, — независимым, гордым, упрямым. Знаю, марку ты держишь. И душу спасаешь. И честь. Но пойми: ведь у нас, между прочим, семья. Маша с Олей растут. Их поди прокорми, и одень, и обуи. И квартира тесна. И живем в нищете, да и только. Ну, почти в нищете. По-людски нам удастся ли жить? Что ночами на кухне сидеть, да курить, да чаи бесконечно гонять, да стихи свои вечно писать, — пусть с годами все лучше и лучше они? Зарабатывать — надо. Пригласили — иди. Может, как-то воспрянешь, оживешь, Да и людям поможешь. И доброе сделаешь что-то. Засиделся ты дома. На службу зовут — так иди!

И я скрепя сердце пошел на эту службу.

Меня сразу же завалили работой.

Даже дома у меня шагу нельзя было шагнуть, чтобы не наткнуться на груды лежавших повсюду папок с рукописями, которые следовало прочитать, отдать на рецензирование и написать редакторское заключение на каждую из них.

Так прошло около года.

Когда я наконец огляделся вокруг и отчасти пришел в себя от этих бесконечных трудов, то ужаснулся тому, где я нахожусь и с какими людьми, совершенно из другого теста вылепленными, рядом работаю.

О моем смогистском прошлом и о круге моих знакомых в издательстве прекрасно знали, но почему-то делали вид, что ничего такого вроде бы и не было.

Разве иногда только кто-нибудь шпильку подпустит или намекнет, будучи подвыпивши, в основном на что-нибудь, что меня сразу же ранило или просто выводило из себя, — знаем, мол, кто ты на самом деле таков, знаем, что ты вовсе не наш, и все вообще про тебя хорошо мы знаем, — и подразумевалось, конечно: погоди, погоди, ничего, мы еще до тебя доберемся!..

А начальство — помалкивало.

Иногда только кто-нибудь из них этак выразительно поглядывал на меня — и я сразу чувствовал: все они, черти, знают!

Все это озадачивало меня.

Чего мне ждать? К чему быть готовым? Как вести себя?

Я старался держаться по возможности спокойнее — и по-прежнему много работал.

Неприятности начались, когда я все смелее стал проявлять инициативу, все чаще и настойчивее начал предлагать к изданию достойные, на мой взгляд, рукописи.

Я помог издать книгу Володе Бойкову. Его рукопись я совершенно случайно увидел в месиве редакционного «самотека» — и, тут же прочитав, изумился тому, насколько же это хороший, жизнелюбивый, стойкий, во всех совершенно отношениях само-

стоятельный, обладающий ведическим мироощущением, негромким, но чистым голосом, ясной, как зимний, с морозом и солнцем, денек, интонацией, по-своему, прямо и твердо, продлевающий дыхание русской речи, светлый поэт.

Я разыскал его и познакомился с этим коренастым бородачом, происходившим, конечно же, как я сразу и предположил, из старинного казачьего рода. Ощущение от встречи было таким, будто знали мы друг друга всю жизнь. А вскоре мы с ним и подружились. И дружба наша — в этом я уверен — настоящая. И я этой дружбой — до рожу, вот уже добрых пятнадцать лет. Не стану сейчас расписывать, с какими боями и муками выходила в свет книга Бойкова. Об этом, как и о многом другом, что имеет прямое отношение к нашим судьбам и нашим стихам, с превеликими трудностями, да и то далеко не всегда, из самиздатовских перепечаток превращавшимся в изданные книги, да и нынче, стоит прямо сказать, во множестве так и пребывающим, несмотря на нынешнее, якобы свободное, бесцензурное, книгопечатание, в том же самом, прежнем, давно привычном для нас, поэтов, самиздатовском состоянии, как в некоей давно уже обжитой, родной для многих среде, а может быть, и стихии, — расскажу я, возможно, потом. Важно, что книга Володина — вышла.

Я подготовил рукопись книги Саши Величанского.

Лиза, его жена, пришла ко мне в редакцию с просьбой — помочь старому другу.

Сам Саша прийти не мог по причине болезни: к тому времени он перенес уже два инфаркта.

Я сказал, что сделаю для него все возможное и даже невозможное — и предложил Лизе принести мне как можно больше Сашиних стихов.

Она принесла ворох самиздатовских перепечаток.

Я внимательнейшим образом прочитал все эти тексты и сам составил из них книгу.

И поставил Сашу в известность о единственной оговорке: следовало учитывать, что книга его готовилась для отечественного издательства.

Со свойственной ему прямоотой Саша сказал мне, что с содержанием книги он на девяносто девять процентов согласен.

И книга его в итоге — пусть и не так скоро, как всем нам этого хотелось бы — тоже вышла.

Я помогал всем, кто обращался ко мне, насколько это было — для меня, все время что-то хорошее старавшегося делать, возможно — в непростых, это если поверхностно, вскользь говорить, а на деле — так жутких, да и только, условиях, — поневоле ощущая себя каким-то подрывником, что ли, в недрах государственной, издательской, хорошо отлаженной и к чужеродным вторжениям относящейся, в общем-то, нетерпимо, — для других же, советских людей, литераторов разных, безголосых, безликих, всеядных, бесчисленных, оптом — бесцветных, и для тех исполнителей, что становились придатками всей этой странной системы, даже очень удобной, привычной, своей, безотказной машины, — помогал, все равно, несмотря ни на что, — помогал,

Сознавая свой долг и всю ответственность за серьезное издание, тщательно готовил я большую книгу Максимилиана Волошина.

С нею связано много драматических событий.

Предваряя это столь важное для меня издание, написал я и опубликовал в периодике статьи о Волошине, а вместе со статьями сделал и публикации некоторых, очень сильных, при советской власти долгие десятилетия не издававшихся его стихов.

Я созвонился с Анастасией Ивановной Цветаевой и консультировался с нею по некоторым, важнейшим, даже сокровенно, для нас-то с нею понятным, вопросам.

Заручившись согласием одного коллекционера, давно связанного с Домом Поэта, многие годы тесно общавшегося с Марией Степановной Волошиной, обладавшего поистине уникальным собранием всевозможных волошинских материалов, я привез к нему в дом издательских людей — художественного редактора и фотографа, и они, непрерывно ахая и охая при виде так вот просто, вдруг, да так щедро, так, что прямо голова кругом идет, открывшихся им сокровищ, сняли на слайды никогда еще не репродуцировавшиеся, великолепные волошинские акварели, настоящие шедевры, а также пересняли и некоторые выразительные фотографии давних времен, и все это делалось для иллюстрирования будущей книги Волошина.

Я списался с Владимиром Купченко, прежним, самым первым, директором Дома-музея Волошина, человеком, знавшим о Волошине абсолютно все и располагавшим совершенно всеми волошинскими текстами, поскольку он, как позже, вздыхая, говорили исследователи, живя в Доме Поэта, своевременно, да еще и наверняка по чутью, то есть верно и, главное, поступив, как потом уже оказалось, правильно, совершив не поступок даже, а подвиг, переписал собственноручно каждую строку из волошинского архива, находившегося, как известно, стараниями Марии Степановны, десятилетиями, и даже в годы немецкой оккупации, да и во все периоды советского режима, в идеальном, безукоризненном состоянии, здесь, в Доме, и только позже переданного в государственные хранилища.

Купченко в восьмидесятых, насколько мне было известно, много занимался наследием Волошина — и в меру своих возможностей и с учетом тогдашнего полузапрета на имя поэта изредка делал кое-какие публикации.

Уже несколько позже, с уходом советской власти, стал он крупнейшим специалистом по Волошину.

И слава богу, что — так.

А тогда он был если не в загоне, то уж точно в полузагоне, тем более — после серьезных, пережитых мужественно и все-таки серьезно ударивших по нему неприятностей с властями.

Я рассудил, что дело это прошлое — и авось все как-нибудь нынче обойдется, все, даст бог, пронесет.

Важно ведь было — выпустить, коли такая возможность в кои-то веки представилась, книгу Волошина.

Я предложил Купченко быть составителем книги, а также написать предисловие и сделать комментарии.

Кому, как не ему, было это делать?

Он откликнулся мгновенно.

Радости своей он не скрывал — и его радость передалась и мне.

Еще бы! Наконец-то — книга Волошина. Да еще и стихи в ней — о гражданской войне, о судьбах России.

Мы вели с Купченко оживленную переписку.

Все, казалось бы, шло как надо.

И тут — вдруг, неожиданно, быть может, а возможно, совсем не случайно, как в трагедии, в нужное время, в неизбежный свой час, — грянул гром.

Недавно работавшая у нас младшая редакторша, скромная, худенькая, миловидная, молоденькая, донесла начальству, что Купченко — вовсе не тот человек, которого следует привлекать к сотрудничеству с издательством.

Она оказалась женой лихого паренька, сына одного из художников Кукрыниксов, — я позабыл сейчас его фамилию, да это и неважно, — важным оказался тот факт, что именно этот вот молодой, поощряемый и науськиваемый властями, делающий свою советскую карьеру, очень даже подходящий, по всем статьям, для такого случая, весьма сообразительный и услужливый паренек был одним из авторов на шумевших в свое время, громивших, изничтожавших Купченко, крокодильских фельетонов, после появления которых в печати вынужден был Купченко навсегда покинуть Коктебель и пережил множество невзгод.

Молоденькая редакторша проявила расторопность и служебную бдительность — и, переполненная осознанием правильности гражданского своего, разоблачающего явных и скрытых врагов советской власти, вполне естественного, в ее понимании, и даже больше, закономерного и оправданного, порыва, — принесла эти старые номера журнала «Крокодил», с язвительными карикатурами и убийными фельетонами, в обход всех нижестоящих инстанций, и, это уж само собой, никак не реагируя на мои протесты и решительные попытки ее остановить, — прямо в руки издательскому начальству.

Разразился, тут же, немедленно, в тот же миг, натуральный скандал.

Так сказать, в духе лучших советских, незаемных, со стажем, традиций.

Издательские деятели негодовали. Как? — чтобы у нас в «Современнике» сотрудничал антисоветчик? Не бывать этому! И кто это его сюда, к нам, протаскивал? Ах, Алейников! Ну, вот и проявил он себя наконец! Как волка ни корми, а он все в лес смотрит. Приняли его на работу в советское учреждение, понимаешь, в крупное издательство, — а он вон что вытворяет! Своих дружков да знакомых, субъектов, с нашей точки зрения, сомнительных, потихоньку норовит публиковать! Вот и открыл он всем нам свое подлинное лицо. Вот, видите, товарищи, что это за человек такой, этот Алейников. Сам — смогист. Сам — диссидент. Ну, может, и не диссидент, но якшался с ними. Да и сейчас наверняка якшается. На Западе публикуется? Публикуется. Факт? Факт. Зарубежные голоса про него вещают? Вещают. Сами слышали. И не однажды. Случайно, конечно. Не специально ведь искали. Искали-то «Маяк», да и наткнулись на «Свободу». Вот и слышали. И ведь знаете, что про него все эти обслуживающие наших врагов умники говорят? Что он, этот самый Алейников, — большой русский поэт. Да-да, представьте себе, Такое услышать — за голову возьмешься. Да кто он такой, этот Алейников? Что-то у нас в стране писания его не больно-то знают. Кто их знает, вообще, если уж на то пошло? Вот Рубцова — все знают. И Тряпкина. И нашего Юрия Кузнецова, — вот уж кто поэт так поэт, все мы знаем его, и любим, и чтим. А тут — какой-то Алейников. Большой русский, понимаете ли, поэт, — и все тут. Это они, там, у себя на Западе, так считают. Ну и пусть себе считают. Мы, здесь, у себя, в Советском Союзе, так вовсе не считаем. Да, не считаем. И не хотим так считать. У нас здесь свои поэты имеются. Понятные людям. А этот Алейников... Ну, читали мы, конечно, его стихи, читали. Приносили нам, для ознакомления. Сами понимаете, надо было все-таки ознакомиться. Мало ли что! Полистали мы, ознакомились. Ну и что же можно сказать? Так себе все как-то, этак. Поток — он и есть поток. Фантазии, видения. А реальность где? Изображение нашей жизни — где оно? Гражданственность — где? Простое, понятное всем, всем доступное слово — ну где оно? Так все как-то, гладенько, музыкально, конечно, ничего тут не скажешь, но уж очень все обтекаемо, да и смутно, очень уж смутно, все звучит да звучит — ни о чем, все струится себе да льется что-то странное, вроде речи, вроде музыки. Ну и что? Да мы лучше Кудимову, с ее откровенной бредятиной и грубой бабьей правдой-маткой, печатать будем, чем этого сверхмузыкального, ровного вроде, а все же заумного, со всей этой его пресловутой

культурой, со всей его сложностью, «большого русского поэта» Алейникова! И вообще, если уж на то пошло, многое из того, что характеризует его как не нашего, не советского человека, мы знаем. Знаем, знаем. Разговоры, высказывания, суждения. Все мы про него знаем. Все мы видим. И даже такое, чего другие не видят. Или не хотят почему-то видеть. Ну, с этим, сразу надо сказать, мы еще разберемся. Мы — обязаны все знать. Обязаны — быть всегда начеку. Мы — сила. Нас — власть на ответственные должности назначила. Нас — партия сюда поставила. Вон Михаил Сергеевич — вот он, на портрете, — смотрит на нас с укором, — как он сказал? «Начни с себя!» — вот как он сказал. Вот мы в данном случае и начнем — с себя. Недосмотрели. Не проявили бдительность. Эх, да что там! — правду надо рубить сплеча! — маху дали, по-русски, по-простому, по-честному говоря. Пожалели страдальца. Посочувствовали бедному, нищему, обремененному заботами о семье поэту. Взяли на работу к себе, — можно сказать, с улицы. А он — вон он как проявился! Разобраться — и немедленно! Купченко — отказать в сотрудничестве. Решительно, пожестче отказать. Так, чтобы впредь не повадно было соваться в государственное издательство. Да еще и такое, как «Современник». Здесь враги не пройдут. С книгой Волошина — не спешить. Посмотреть еще надо, повнимательнее, что там, в рукописи, за содержание. В случае чего — другого, подходящего для нас, подыщем составителя. Есть тут один на примете. Знает, что приемлемо для нас, а что — категорически неприемлемо. Литературовед. Опыт есть. Дело свое знает. Вот ему и предложим работу. Составление, предисловие, комментарии. Словом, все. Разберется. И мы — разберемся. С Алейниковым — тоже разберемся!..

И пошло, и сдвинулось тут же с места, сразу шагнуло куда-то, наверное, прежде всего туда, куда полагается, а потом уже и разветвилось, боковыми путями, окольными, незаметными, тихими тропками, расслоилось, в разные стороны поползло, проникло, внедрилось, усвоилось, прижилось, и поехало, да все дальше, полетело, может, и кубарем, ну а может быть, и на крыльях, нет, скорее всего, на колесах, красных, видимо, вездеходных, все сминающих по дороге, превращающих в пыль, в труху, вроде тех, пресловутых, бульдозерных, всем известных, ставших невольной то ли притчей во языцех, то ли символом характерным обострившегося бесчastia, и поехало, и пошло, и звалось это просто: зло...

И вот меня стали травить.

Сразу припомнили мое прошлое — да так лихо, споро, уверенно, — на удивление прямо!

Все мои попытки побить в печать что-нибудь стоящее разбивались, как об стену.

Положение становилось невыносимым.

На меня писали всякие «телеги», доносы и жалобы во все тогдашние грозные инстанции: в ЦК партии, в Госкомиздат, в газету «Правда», в правление Союза писателей и кто его знает, куда еще.

Недоброжелатели мои — особенно преуспевающий советский поэт, лауреат госпремий, притворный правдолюбец и липовый русофил, некий Алексей Марков, на мой взгляд — бездарь и графоман, этакий хлипкий, скользкий, жидковолосый и пегобородый, полупереточный, полупартийный мужичок, себе на уме, хитрован, злобой налитый по лысеющую макушку, но еще и злопамятный, и злокозненный, как оказалось, которому я, редактор, на корню зарубил составленную им толстую рукопись «Венок Некрасову», где, помимо текстов кучки прочих маловыразительных авторов, львиную долю составляли, разумеется, сочинения самого Маркова, усиленно радевшего о России, о русскости, обо всем, что ни есть только русского в мире, где белый свет все-таки, по старинке, кое-кому да мил, буквально потрясшие меня и не на шутку огор-

чившие своей беспомощностью, донельзя низким уровнем художественности, отсутствием света, дыхания и живого слова, расстарался, проявил инициативу и, конечно, усердие, не поленился полистать мою книжку «Предвечерье», посмеялся, пофыркал, как потом уже говорили мне, над ее содержанием вместе с дочерью, Катей Марковой, будущей очередной женой моего приятеля молодости Юры Кублановского, — вот какие пируэты порой вытворяет судьба! — и выступил Марков, с речью, гневной, понятно, выступил, и — обличал меня, читай — доносил, крича: «Кого вы здесь собираетесь принимать в наш союз писателей? Алейникова? Антисоветчика? Смогиста? Да он на Западе издается! Да про него радиоголоса вещают! Опомнитесь! Спыхватитесь! Что же вы, товарищи, делаете? Нет, не место в Союзе писателей этому Алейникову! И стихи у него неважные. Вот мы ночью читали его книжонку с дочкой и уж так смеялись, ну ржали прямо. Ишь, какие поэты развелись, непонятно откуда. Я вызвался быть оппонентом. И я первый — против приема Алейникова! «Нечего ему делать в нашей организации!» — распинаясь перед приемной комиссией оппонент мой, как оказалось, да еще и какой — патриот и лауреат, Алексей, понимаешь, Марков, — так потом, на ушко, потихоньку, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не услышал и не донес, мне рассказывали, — и я улыбался спокойно и грустно, ко всему привычный, смотрел на рассказчика — и молчал, — что за люди? или же — нелюди? — что за время? — да перестроечное, перестроечное, конечно же, перетроечное, передвоечное — словно в школе, да околичное, да двуличное, неприличное, не тепличное, не опричное, так, непрочное и порочное, не барачное, не оброчное, непривычное, неэтичное, — словом, обычное, наше с вами, бывшее, общее, за которым — развал и бред, — вот и Марков исчез в нем, и прочие, скопом, канули, — разнорабочие, отработали — да и сгнули, всех их, оптом, во тьму задвинули — отработанное, ненужное, сор эпохи, бесплотный хлам, — но пришли другие старатели, в новых масках — недоброжелатели, и не лучше они предшественников — много хуже, и рожи — злые и поганые, — те, бывшие, сделали все для того, чтобы не принять меня в Союз писателей.

И — не приняли.

Хотя, как потом выяснилось, ничего не ведавший о заседании приемной комиссии, большинство голосов я все же набрал.

Я чувствовал, что контролируют каждый мой шаг, по-своему, превратно, истолковывают каждое мое слово.

Напряжение было огромным.

Чередой пошли гипертонические кризы — последствия многожды разбитой, неизвестно кем, оставалось только гадать, да еще, как ни грустно, — догадываться, разбиваемой — с тяжелыми последствиями, с нешуточными травмами и сотрясениями мозга, обычно — после моих квартирных чтений стихов, иногда — и в других ситуациях, но всегда — со знанием дела, и не просто умеючи, нет, — очень точно, наверняка, то есть именно так, как следует бить, конечно — профессионально, разбиваемой — методично, раз за разом, целенаправленно, покуда я и вовсе не перестал читать стихи на людях и все реже, реже стал выбираться из дому, даже к знакомым, даже к друзьям, особенно вечерами, — головы моей, разбиваемой, добиваемой, убиваемой, но, однако же, уцелевшей, только боль — до сих пор при мне.

А тогда боль бывала просто невыносимой.

Я терял координацию. Бывало, падал прямо на улице. И никто меня не поднимал. Думали небось, что пьяный. Поднимался — всегда сам. Восставал. Как умел. И шел — дальше.

Меня замучили бессонницы. Тот, кто знает, что это такое, — поймет меня без слов.

Порою болело буквально все — руки, ноги, глаза, суставы.
Я — терпел. Надо было — работать.

В итоге, после издательской очередной невротрепки, только я добрался домой, у меня отнялись ноги.

Трое суток, в период жуткого, ни на что не похожего криза, измотавшего так основательно и настолько жестоко меня, что мерещился где-то поблизости ледяной холодок гибели, норовящий проникнуть в душу, я не мог подняться с постели.

В литфондовской поликлинике, где я как сотрудник издательства, да еще и до этой поры, как член одного из профкомов литераторов многочисленных столичных, тогда состоял, врач, сверкнув на меня очками, за которыми сразу почуял я наметанный, цепкий взгляд, внимательно осмотрел меня, нахмурился, озадачился, — и, едва с моих слов узнав, где именно я работаю, тут же, без всякой наигранности, резко всплеснув руками, сказал мне жестко и прямо:

— Или — в гроб, или тут же, немедленно, уходите из этого, знайте, губительного для вас издательства. Ну, выбирайте!

И я ушел из издательства — ушел, напоследок все-таки высказав кое-кому, что я о них думаю.

Месяца три после этого приходил помаленьку в себя.

И дал себе твердый зарок: впредь никогда не идти на ненужную мне, государственную, для меня опасную службу.

Что с Божьей помощью — верю в это — и осуществил.

Но все, о чем я рассказывал, произошло несколько позже.

А сейчас...

Рейн пришел ко мне с просьбой — с огромной просьбой, с глубокой, личной просьбой — помочь ему выпустить книгу в этом издательстве.

Знал — куда шел.

Знал — к кому шел.

И я помог ему.

Я сделал для этого все, что было в моих силах.

Не стану сейчас рассказывать, чего мне это стоило.

Зачем поражать воображение молодых моих современников, и слыхом не слыхивавших о подобных страстях и представить нынче неспособных, за неимением собственного, на своей шкуре, опыта, что такое было возможно, что такое было обычной реальностью, в еще сравнительно недавние, советские, пусть и перестроечные, времена?

Я шел направо.

Двигался целенаправленно, сознательно, только вперед и вперед.

Я представил более чем достаточно аргументов, да таких, что после всего этого не издать книгу Рейна вроде бы и никак нельзя было, неудобно как-то, неловко получилось бы.

Я шел направо — и победил.

Рукопись Рейна, подкрепленную обеспеченной мною хорошей рецензией и моим убедительным редакторским заключением, помявшись таки, покряхтев, поморщившись, повздыхав, но — куда денешься? — время такое, — придется издавать, — надо! — поставили в издательский план.

И книга его, согласно этому плану, несколько позже вышла.

В этот период мы довольно часто виделись с Женей.

Был я для него необходимейшим человеком.

Это и понятно.

Шутка сказать — вторую книгу Рейну «пробил».

Я ходил у него в ангелах.

— Володя! Ангел! — обычно кричал он в телефонную трубку, — приезжай! Вот и мама тебя приглашает! Жду! Приезжай!

Забегая вперед, скажу: когда Женина книга вышла, — нет, куда раньше, — уже когда получила она так называемую «позицию», то есть был издан, на соответствующий год, очередной издательский план, специально выпускаемый, для того, чтобы книги заранее заказывала широкая сеть книжных магазинов по всей стране, а также прочие торговые точки, и даже просто любители отечественной литературы, граждане бывшего Союза, — от чего, кстати, неожиданно вполне мог резко возрасти предполагаемый тираж книги, а с ним, соответственно, и гонорар автора, что в таких случаях подобными счастливыми воспринималось как подарок судьбы и, само собой, предполагало небольшой праздник по такому хорошему поводу, а то и затяжное застолье или, по-русски говоря, долгую пьянку, это уж как у кого, и хорошо, что система заказов на книжные новинки так была отработана, — ангелы из его лексикона сразу исчезли.

А потом он и вовсе стал уклоняться от встреч.

Зачем они?

Дело ведь было сделано.

— Володя, прости, дорогой, — сразу начинал он говорить, если я изредка звонил ему, — не могу увидеться. Спешу. Машина ждет. В пальто стою.

Навязываться людям — не в моих правилах.

Я и перестал Рейну звонить.

Зачем?

Он всегда стоит в пальто, его ждет машина.

Он всегда торопится, всегда занят.

Ему не до встреч.

Но это было — позже

А сейчас Женя всячески демонстрировал свою расположенность ко мне, свое внимание ко мне.

Вот он и листал мою перепечатку, вот и зачитывал вслух отдельные, нравящиеся ему куски.

Может быть, и была в этом искренность, допускаю.

Но была и нарочитость.

Я это чувствовал.

Была торопливая какая-то фальшь, иначе не скажешь. Наигранность.

Нет, игра.

(Игра. Наверное — в бисер.

Гессе. А может — Гёте?

Не Гейне ли? Гофман? Гауф?

Словом, сплошное «Г».)

Женя играл передо мною.

Играл еще одну свою роль.

Временную.

Не соответствующую его репертуару.

Вынужденную даже.

Но — что делать — приходилось отрабатывать.

При его-то, несмотря на вдохновенные порывы и всякие житейские безумные истории, несомненном и развитом практицизме.

При его-то ревности — вспоминаю, Володя Брагинский рассказывал: как они с Ильей Смирновым, объединившись, все поддразнивали находившегося в гостях у Ильи и читавшего там стихи, а потом и выпившего, возбужденного Рейна, — что вот, мол, конечно, стихи у него нормальные, — но Володя Алейников пишет стихи лучше, и куда лучше, чем он, Женя, — и тогда Рейн, от невозможности возразить что-нибудь на это, разозлившись, бессильно как-то, но и с вызовом вместе с тем схватил со стола фужер и с размаху грохнул его об пол, — при его ревности, повторяю, хоть и скрываемой, из тактических и стратегических соображений, но иногда и, поскольку трудно копить ее внутри, в себе, таки прорывающейся наружу, — он удосужился вроде более-менее внимательно прочитать мои тексты.

И он, актер, да еще какой, читал — передо мною, как перед зрителем, — а вовсе не мне, поэту, — мои стихи.

Я — молчал и мрачнел.

Всяческие предчувствия относительно нашего с Рейном общения уже пробудились во мне.

Предчувствия были верными.

Быть не могло иначе.

От стихов, как бывало всегда, постепенно перешли мы к беседам на житейские, так сказать, приземленные темы.

Стали оба припоминать былые годы с их суровой школой.

Я, довольно сдержанно, впрочем, поскольку и тяжело это было, и грустно, рассказывал Жене — кое-что, разумеется, так, частицы, крупички, детали, но уж вовсе не все — о своих миновавших, по счастью, бездомных скитаниях.

Женя, оживившись, припомнил и что-то свое.

И тут же выдал мне серию знаменитых своих баек.

Байки были обильно приправлены юмором, а еще и, конечно, иронией, а еще хороши были их интонации, тон, да и все, что связано именно с голосом, со звучанием голоса, и, конечно же, с мимикой, с жестами, то есть с тем же актерством.

Слово за слово, и коснулись мы прежней, всеобщей, повальной нищеты нашей.

— Даже в худшие годы, — вдруг сказал со значением Рейн, — даже в худшие свои годы, — тут он наставительно поднял указательный, палец и выразительно помахал им в накуренном, спертном, перенасыщенном зыбкими, тягучими слоями сизовато-белесого табачного дыма и прорывающимися сквозь него, приглушенными, но такими ориентально-нервическими джазовыми синкопами эллингтоновского «Каравана», пряными, жгучими россыпями то и дело летающими с черного, тускло отсвечивающего диска кружащейся на стереофоническом проигрывателе граммофонной пластинки, — даже в худшие годы, — сызнова, намеренно, подчеркнул он, — я никогда не ходил без стольника в кармане!

Сказав это, Женя, с некоторым, вроде как скрывающим некую тайну относительно безбедного существования, полупризнанием-полувызовом, полудоверчиво-полупобедно, шевеля безнадежно густыми бровями, в упор посмотрел на меня.

Что ему мог я ответить на это?

В прежние годы, бывало, и захудалого пятака на метро, не то что каких-то там стольников — такое и присниться не могло, — не было у меня.

Вот и ходил преимущественно пешком.

Голодуха сплошная, отсутствие крова, ночлега, стоптанные башмаки — да звезды над головой.

Хроническое безденежье — к этому не привыкать.

Несмотря ни на что, я работал.

Вопреки всему, я писал.

Перемучишься снова, бывало, — и опять появлялись, меня исцеляя, стихи.

Так и жил столько лет. Но и — выжил.

Я опять промолчал.

На столе перед Рейном лежала недавно изданная «Советским писателем» небольшая книжка его стихов.

Теперь ему позарез нужна была вторая.

Первая наконец-то, не по возрасту поздно, а все-таки вышедшая, — лежала всегда под рукой, была всегда на виду. Рядом с ней — нет, не рядом, а осторонь! — лежала большая самиздатовская моя перепечатка — лишь малая, даже крохотная, часть написанного мною за многие годы, — и ни одна строка из нее издана не была.

Прошло несколько лет.

Книги мои наконец были изданы.

Я подарил их Рейну.

Количество их и объем — впечатляли.

Время от времени Рейн говорил:

— Ты много книг издал!

Я обычно отвечал:

— Еще больше моих текстов — так и не изданы.

Он шевелил мохнатыми бровями и смотрел за окно.

Может быть, вспоминал он тогда свои собственные слова, сказанные мне на самой заре свободного, бесцензурного книгопечатания, когда разом открылись, казалось, все шлюзы и печататься можно было, как привыкли у нас говорить, без проблем — то есть подразумевалось буквально следующее: что принес в редакцию, то сразу же вскорости и напечатают, без всяких там вторжений в текст и сокращений — без этой советской практики прежних лет, напечатают — в подлинном виде, так, как написано, — и казалось тогда нам всем, что, похоже, уже наступают ежи и не райские, то, по крайней мере, льготные времена, и они потом наступили, но смотря для кого и когда, но об этом пока ничего мы не знали, — только радовались новизне, и ее небывалости, и тому, что, наверное, сбудутся наши надежды на лучшее время, и тому, что, выходит, уже дождались хоть чего-то нормального, и уже есть такая возможность — издаваться везде, где захочешь, широко, свободно, на выбор, где надумаешь, где пожелаешь, потому что везде тебе рады, а стихам твоим — и тем более, так уж рады, что диву даешься, — так, наивно, по-детски, казалось — мне, во всяком случае, — Рейну что мерещилось — я не знаю, ведь чужая душа — потемки, но тогда говорил он вот что:

— Представляешь, такие возможности вдруг открылись — везде издаваться! Только что же мне издавать? Сколько есть у меня стихов? Сотни три наберется, пожалуй. Вот и все. Что мне делать — не знаю.

Я сказал ему, помню, тогда:

— Сотни три — это тоже ведь много. И тем более если стихи все хорошие. Для поэта, сам ты знаешь, это неважно — сколько он написал вещей. Были б сильными эти вещи, долговечными — вот что важно. Было б слово живо его. Остальное — так, приложение, не к чему-нибудь, а к труду. Не печалься. Все у тебя впереди. Все сбудется вскоре. Уж во всяком случае, знаю, — у тебя. И куда скорее и удачнее, чем у меня.

Посочувствовал я ему. Успокоил его. Утешил.

И тогда же отчетливо понял: мне с моими стихами, которых написал я несколько тысяч, ждать хорошей поры для себя — много дольше придется. Но сколько же? И дождусь ли? И что же дальше?

«Дальше — время твое настанет!» — ясный голос мне вдруг сказал.

Я — услышал его.

И — понял.

И поэтому — промолчал.

О себе — ничего не сказал.

Наперед говорить — не стану.

И тем более — Рейну, с его размышлениями: что же ему издавать, если текстов — немного?

Ничего. Что-нибудь да напишет. И еще, и еще, и еще.

Я же — как-нибудь сам разберусь: и с собою самим, повсюду и везде бывшим белой вороной, инородным телом, случайным гостем — там, на всеобщем пиру, и ушедшем оттуда вдруг, чтобы в глушь отойти и в тишь, чтобы там, в стороне от всех, где покой и воля, — работать, продлевая дыхание речи, продолжая духовный путь, — и тем более разберусь, без подсказчиков, без суеты, сам, как есть, со своими стихами, — дай им бог и впредь появляться и хранить в себе свет живой.

Надо ли, чтобы слова разрастались, вместе с растениями в песнях сплетались, в сумерках прятались, в мыслях взметались, в листьях сумбур учинив? Сколько бы им на простор ни хотелось, как бы за ветром к дождям ни летелось, где бы развязка вдали ни вертелась, ток их широк и ленив. Где бы решимости им поднабраться, как бы вольготностью им надышаться, как бы с наивностью им побрататься, чтобы опять одолеть то ли стеснение, где некуда деться, то ли смирение, где впрок не согреться, то ли томление, где в тон не распеться, вырваться — и уцелеть? С кем бы им там на пути ни якшаться, как бы о прожитом ни сокрушаться, где бы ни рушиться, ни возвышаться — нет им покоя, видать, ибо успели с раздольем вскружиться, ибо сумели с юдолью сдружиться, с долей намаяться, с болью прижиться, — знать, по плечу благодать. Дай же им, Боже, чтоб реже считались, больше ерошились, чаще скитались, в дни переплавились, в годы впитались, — в будущем, их ощутив где-то, насупясь, а все же надеясь, что-то почуяв, что ждет, разумеясь, кто-то изведает, высью оваясь, ясноголосый мотив.

Или так — о своем, о родном:

Горловой, суматошный захлеб перед светом, во имя полета, — и звучащие вскользь, а не в лоб, хрящеватые, хищные ноты. Сколько цепкости в свисте сплошном! Льготы вырваны клювами в мире — и когтистая трель за окном, подобрев, растекается шире. Сколь же любы мне эта вот блажь, эта гибель презревшая хватка, эта удадь, входящая в раж, хоть приходится в жизни несладко. Пусть сумбурен пичужий вокал — но по-своему все-таки сложен, потому что жестокий закал, как ни фыркай, конечно же, важен. И не скажешь никак, что отвык от захлестов капризных и ахов, потому что все-ленский язык полон вздохов невольных и взмахов. Мне сказать бы о том, что люблю этих истин обильные вести, но, заслушавшись, просто не сплю — а пернатые в силе, к их чести.

Вот и вся, если вдуматься, разница — между мною и Рейном.

У меня — ведическое мироощущение.

В нем время и пространство, да и все измерения, — заодно, в единстве, в гармонии.

И стараюсь я выразить — единство сущего.

И весь мир мой, земля моя, почва, на которой живу я и с которой никуда никогда я не уходил, — мне дом.

Рейн — питерский парижанин и сплошной горожанин.

Он — данник и пленник своего земного, ему отпущенного времени, выразитель — только его, изобразитель — сугубо земных, повседневных, людских забот и страстей.

Рейн — агитатор «за искусство» и комментатор искусств. И тем более — литературы. Но, конечно же, хочется большего. Потому-то, наверное, в совершенно случайно увиденном мною фрагменте снятого неким зарубежным гастролером видеофильма он, потрясая вздымаемыми руками, патетически восклицал: «Я лучше всех в России разбираюсь в стихах!..» Что ж, совсем хорошо, если вправду — вот так. Только время — его, человечье, — его же спасательный круг. На воде, на широкой воде мирового пространства. Надо крепко держаться за круг. Если вдруг ненароком упустит его — что же будет потом — с ним, таким городским, и бравурным, и вальяжным, и полубезумным — но, однако же, трезвым, разумным, несмотря на повадки свои и сумбурную некогда жизнь? Надо крепче держаться за круг — то ли города, то ли иного, гуще, круче, людского скопления. Там — спасенье, и там — впечатленья, поощренья, даренья, все — там. Одного лишь там нету — горенья. И того, что за этим: прозренья. Есть — людской толчей пузыренье, за которым, как призрак, — старенье. И — с собою, давнишним, — боренье, коль захочется фарсов и драм. Но возносятся — благодаренья, за судьбу, — к городским небесам. Потому что дано и паренье, приобщенье — к иным голосам.

К Жене я всегда относился и отношусь, несмотря ни на что, с неизменной симпатией. Нравится мне человек этот — и все тут. К тому же он еще и по-настоящему талантлив. Уж поталантливее Бродского. Так я — давно — считаю. И Женя об этом знает. Мне всегда с ним интересно. И наши встречи, наши беседы, в последние годы, к сожалению, редкие, остаются надолго в памяти. Колоритный человек. Сложный. Несомненно, обладающий врожденным магнетизмом. И — обаянием. И — чутьем на стихи. А еще, несмотря на свой возраст, сохранил он в себе замечательную детскость, изумление перед миром, — и я это вижу и понимаю, и это для меня — очень важно в человеке. Так что можно на него поворчать, да и только. А обижаться на него — зачем? Он такой, какой есть. Он — Рейн. Всем известный современный поэт. Однофамилец знаменитого голландского художника — Рембрандта ван Рейна. Собеседник мой — в былые времена.

Однажды Женя говорит мне:

— Я считаю, что СМОГ — просто некий довесок к тебе. Ты всегда был сам по себе. Всегда был независим, оригинален и самостоятелен во всем. Тем более — в поэзии.

— Мне и самому все это давно надоело! — отвечаю я ему. — Нынче так и норовят всех сбить в группы, в стаи. Так им, тем, кто пытаются разобраться в том, что мы делали, удобнее. Тебе это хорошо известно.

— Да, у меня такая же история с Бродским, — сказал Рейн.

Потом помедлил — и порывисто произнес:

— Я всегда хотел дружить с тобой!

И подчеркнул патетически:

— Я считаю тебя великим человеком, великим другом и великим поэтом!

— Ты мне тоже дорог, Женя! — ответил я ему. — Давай, в наших-то зрелых летах, попробуем — дружить.

— Уезжаю в Париж! — сообщил мне Рейн. — Вместе с Надей.

— А я — к себе, в Коктебель! — ответил я. — Вместе с Людой.

На том разговор наш и закончился.

И снова долго не виделись.

Такое вот у нас, у поэтов, годами собирающихся дружить, — своеобразное общение.

Дружба дружбой, а дороги — врозь.

Кому — на Запад, кому — в Киммерию.

Может быть, и встретимся еще — у меня, в Коктебеле.

Все может быть.

У нас — все может быть.

— Зачем тебе волноваться? Ты великий поэт! — сказал мне Андрей Битов, когда я спросил его, как там обстоят дела с моим приемом в ПЕН-клуб.

Дело было уже в девяносто четвертом году.

— Вон сколько книг у тебя вышло, — сказал Андрей, — все это знают. Все знают, кто ты такой. Так что не волнуйся. Примем.

И приняли.

— Поздравляю, — сказал мне Битов по телефону, — приняли единогласно. К Окуджаве, поскольку он болел, ездили специально на дачу. Все проголосовали — «за». На обсуждении вслух читали стихи твои. Наизусть помним. Так что все в порядке.

Позвонил Женя Попов:

— Поздравляю, Володя! Мы тебя приняли.

Я сказал Людмиле:

— Приняли меня.

— Ну и ладно, — сказала мудрая и проницательная моя жена, — только что это даст тебе? Вряд ли будет от этого прок.

Получил я членский билет — и уехал к себе в Коктебель.

Приехал в Коктебель Битов.

Конечно — летом.

Конечно — отдохнуть.

Конечно — с семьей.

Конечно — вместе с Сашей Ткаченко и его семьей.

ПЕН-клубовское начальство к нам пожаловало! — так в поселке у нас говорили.

Зашел Андрей ко мне в гости.

Навестил старого друга.

Пригласил меня в Дом Волошина — на презентацию недавно вышедшего очередного «Крымского альбома», в котором стихов моих, разумеется, не было — хотя стихов о Крыме у меня больше, чем у всех русских поэтов, вместе взятых.

Я — пришел.

В кои-то веки — выбрался на люди.

На веранде волошинского дома собрался народ.

Издатель Дима Лосев, человек феодосийский, молодой, энергичный, представил вышедшую книгу.

Потом все присутствующие выпивали, закусывали и разговаривали о разном.

Так, наверное, полагается на презентациях.

Я, непьющий, сидел в стороне и курил.

Напротив меня, в тесноте, да не в обиде, рядышком, сидели такие разнородные люди, как широко известный в России и далеко за ее пределами, популярный, модный прозаик, пишущий и даже издающий еще и стихи свои, лауреат всевозможных премий, литературных и государственных, неизменный участник различных жюри, раздающий

престижные премии, постоянный гость на телевидении, полномочный представитель отечественной литературы в зарубежных, спокойных, зажиточных, с торжеством демократии, странах, претендент на титул «Мистер Совершенство-97» от Марии Арбатовой, писатель номер один нашей страны, ум, честь и совесть — по мнению журнала «Она», педагог, воспитатель прозаиков в Литературном, основанном Горьким, на бульваре Тверском находящемся институте, законодатель вкусов, мнений и мод — в области литературы, человек, способный влиять на судьбы людские в смутном все-таки мире интриг, и тусовок, и отъявленной групповщины, личных дружб, отношений хороших, выдвинутых куда-то, поездок и всяческих благ, именуемом, как ни странно, по старинке, литературой, да еще и российской, русской, современник, приятель мой давний, который давно уже — многое может, и особенно — в девяностых, по его же словам, — если только захочет, конечно, — так заметим, и — справедливо, — человек, по словам Жени Рейна, небывалый, который — все может, автор целого ряда книг, всюду изданных и переизданных, многодетный отец, седой и вальняжный, раньше — в очках, а теперь — без очков, то бритый, то с усами, а то — с бородой, белой, колкой, короткой, модной, — все зависит от настроения — как ходить: можно — стричься наголо, можно — волосы отрастить, все равно есть титулы, звания и, что важно, к нему внимание, всеми признанный нынче лидер и всеобщий любимец, баловень благосклонной к нему судьбы, председатель ПЕН-клуба, гордость демократов, Андрей Битов; бывший эмигрант, основатель издательства «Третья волна» и альманаха «Стрелец», коллекционер и пропагандист современного авангардного искусства, создатель музеев в изгнании, автор книг стихов и мемуаров, недавний, по словам Сергея Довлатова, борец с тоталитаризмом, из-за этой борьбы никому в эмиграции не отдававший долгов, нынче — вроде устроенный в жизни и давно живущий в Москве, где — все то же, такая же деятельность, как и прежде, — издание книг, то и дело — устройство выставок, собирательство, целенаправленно, современной российской живописи, и не только российской, а всякой, где придется и как придется, благо — много ее везде, человек бледнолицый, цепкий, невысокий и всем известный, с сигаретою вечной «Данхилл», взгляд — сквозь дым, — Александр Глезер; и — доселе мне незнакомый, патриот, русофил, из главных в этом стане, издатель вроде приложения литературного — и к чему же? — к газете «День», чье название вдруг изменилось, если я не спутал чего-то, став туманно-значительным — «Завтра», человек дородный и крупный, рыхловатый немного, спокойный, но, однако же, с напряжением — там, внутри, скрываемым тщетно, с осторожно приподнятым кверху, как фонарь в полумраке, лицом, славянин и, кажется, критик, со вспотевшим широким лбом и расправленными свободно под рубашкой чистой плечами, шумно дышащий Владимир Бондаренко.

Все трое с удовольствием выпивали — и, несмотря на то, что считались представителями противоположных лагерей, друг с другом и не думали ссориться.

Напротив, было им всем здесь, вместе, на волошинской миролюбивой веранде, у моря, летом, теплым вечером, уютно, покойно и хорошо.

Андрей Битов сказал, обращаясь одновременно и ко всем гостям оптом, и к Диме Лосеву, в частности:

— Здесь, у вас, в Коктебеле, живет Владимир Алейников, великий русский поэт. Почему его стихи не публикуются в таких изданиях, как «Крымский альбом»?

Присутствующие, особенно сотрудники волошинского музея, никак не отреагировали на это.

Они давно ко мне привыкли.

Живу я здесь — и ладно, и хорошо.

Работаю все время — об этом они прекрасно знают. Знают, что я только и делаю, что работаю.

А что пишу — обычно не спрашивают.

Прекрасно им известно и то, что выступать с чтением своих стихов — ни у них, ни в других местах — я не люблю. Существую я здесь — вроде и рядом, близко, но в то же время и осторонь от всех и всего, в первую очередь от суеты, — и все тут.

У них — своя жизнь, у меня — своя жизнь.

Всем известно: есть Коктебель, и в нем — Алейников, там, у себя в доме, приходит сюда редко, все работает и работает, и тянется так — годами.

Издатель Дима Лосев и бровью не повел.

Словно ничего такого и не слышал.

Я сказал:

— Ну зачем ты так, Андрей?

— А что? Я правду сказал. Так ведь все и есть! — опять-таки обращаясь одновременно ко всем, стоял на своем Битов.

С набережной во двор волошинского дома врвался грохот музыки из бесчисленных кафе и забегаловок.

На веранде было относительно тихо и спокойно.

Вроде бы продолжалась волошинская традиция общения.

На самом деле — все сидели и выпивали.

Факт культуры сменился обычным застольем.

Ничего не поделаешь.

Это — факт как бы времени.

Лето, отдых и повод вполне подходящий — для выпивки.

Незаметно я встал и ушел.

— Ну как презентация? — спросила меня Людмила.

Я рассказал.

— Сиди дома и работай! — сказала моя мудрая жена.

* * *

Леонард Данильцев, мой друг старший, прежде всего — по возрасту, лучше других московских моих, многочисленных, приятелей, и знакомых, и некоторых друзей, тех, кого я считал таковыми, ошибаясь и прозревая много раз на веку своем, понимал меня самого, понимал мое состояние — и в относительно светлых, лирических шестидесятых, и уж тем более в трудных, драматических, бесприютных, порою на грани трагедии, даже гибели, от которой уводила меня судьба и спасало всегда лишь творчество, моих героических, с кровью давших, закаливших дух и речь напитавших светом, семидесятых — и старался чаще быть рядом.

При малейшей возможности, стоило позвонить ему или зайти навестить его, под настроение, уходил он тут же с работы, из библиотеки имени Ленина, где томился годами, в должности скромной художника-оформителя.

На отлучки его постоянные, по любому поводу, лишь бы поскорее оттуда вырваться, вот и все, там смотрели сквозь пальцы.

Мы с ним объединялись, ходили вдвоем по дружеским домам, где, бывало такое, иногда застревали надолго или ехали прямо ко мне, в квартиру мою, покуда была у меня таковая, и там вели разговоры, задушевные, и серьезные, и веселые, разнообразные, благо было о чем говорить, читали стихи друг другу, выпивали и похмелялись, принимали частых в те годы и весьма интересных гостей, — а то и, тряхнув стариной, почувствовав сызнава вкус к передвижению в пространстве, путешествовали по разным русским северным городам, приезжали негаданно в Питер, — как уж там получалось, поскольку все у нас выходило спонтанно, в том числе и эти поездки, ненароком, под настроение.

Другом был Леонард настоящим.

Это ведь тоже дар, еще и какой, — дар дружбы!

Еще он очень любил и умел, как никто, пожалуй, знакомить между собою близких по духу людей, — и знакомства эти, как будто благословленные им, неизменно, как-то стремительно, перерастали в дружбы.

Так он когда-то, словно почувствовав необходимость этого ритуала, познакомил меня с художниками Игорем Ворошиловым, Мишей Шварцманом, Игорем Вулохом, да и не только с ними, но и с числом немалым достаточно ярких людей.

И я, разумеется, тоже весьма охотно и быстро перезнакомил его со всеми своими товарищами.

Хотя Леонард и был значительно старше нас, но он легко и свободно вписался в нашу компанию.

В прежней моей квартире, всей богеме известной, он бывал постоянно, так часто, что привык я к нему и считал его родственником, почти, и это он понимал и ценил, с годами все больше и больше.

Мне первому он обычно показывал тексты свои.

Он верил мне, я это знаю.

И сам я верил ему.

Он был очень талантлив, причем талантлив разносторонне, от природы, настолько щедро, что хватило бы этих талантов, полагаю, на десятилетиях.

Но со своими талантами сроду он не носился.

Рассказы шестидесятых, принесшие моментально ему, читавшему их, артистично, с блеском, в компаниях, замороженных самой фонетикой этой свежей, новаторской, звонкой прозы, известность в нашей среде, для него самого, их автора, остались где-то в былом.

Ему интересны были всегда какие-то новые жанры, новые формы.

Поле зрения превращалось в поле творческой — с новизной всех прорывов к загадкам и тайнам речи, светлой стихии — работы.

Он уже написал, всех разом удивив знакомых, к началу неизвестных для нас, пока что, смутноватых семидесятых, большую, серьезную книгу стихов «Неведомый дом».

Замыслы разнообразные переполняли его.

Умница, человек благородный, тактичный, воспитанный, замечательный собеседник, знаток и ценитель музыки, литературы, живописи, был он в богемных кругах фигурой очень значительной и даже незаменимой.

К нему то и дело прислушивались, с его, достаточно твердым, чтоб запомниться каждому, мнением обычно всегда считались. Врожденный аристократизм преспокойно в нем уживался с демократичностью принципиальной — и это для него, человека сложного для одних и очень простого для других, было очень естественным.

Себя не любил он выпячивать на людных сборищах всяких — и предпочитал держаться, сознательно, чуть в стороне.

До занятий литературой он, получивший два образования — художественное и актерское, — служил актером в провинциальных театрах, где почему-то играл преимущественно роли простаков.

О своем театральном прошлом — рассказывал забавные истории.

Помню одну из них.

В свое время Леонард жил на Сахалине и работал там в местном драматическом театре.

Жизнь на далеком восточном острове была не больно-то веселой, поэтому театральный люд развлекался тем, что регулярно выпивал.

Однако и о работе своей не забывали.

Спектакли в театре шли исправно. Никто обычно товарищей по труппе и режиссера не подводил, даже если находился в запое, — доставало сил отыграть роль, а после уж — то ли продолжалась пьянка, то ли закруглялась, это зависело и от состояния здоровья, и от наличия средств к существованию.

Тогда широко практиковались шефские концерты.

Вся труппа — или же только часть коллектива — регулярно куда-то выезжала. И везде, понятное дело, артисты были желанными гостями.

Однажды коллектив театра выехал на такой концерт.

До места добирались почему-то не по суше, а по морю, на катере.

Благополучно прибыли. Дали концерт, на который собрался весь затерянный в глуши поселок.

А потом артистов, разумеется, хорошо, с размахом, по-сахалински, по-островному, не то что где-то на материке, угостили.

Да еще и с собой надарили гору всякого питья, в основном питьевого спирта и домашнего, проверенного, отменно хорошего качества и высокой крепости, тщательно очищенного самогона, который на Сахалине всегда гнали, гонят и гнать будут, — сам это видел, знаю, пробовал, испытал почти двадцать лет назад, — к тому же и закуски там, на острове, всегда предостаточно: горбуша, икра, черемша, всякие корейские закуски и специи, — так что народ выпивает там обстоятельно, с чувством, с толком, с расстановкой, и всегда хорошо, обильно закусывает.

Впрочем, крепость напитков такова, что как ты ни закусывай, сколько чего ни съешь, а все одно в итоге опьянеешь.

Еще и опохмеляться придется, это уж как пить дать.

Ну так вот.

Сопровождаемые населением поселка, загрузились артисты на катер. Немногочисленная, тоже изрядно поднабравшаяся команда катера, состоявшая из капитана, рулевого и матроса, с трудом держалась на ногах. Однако завели мотор. И, провожаемые собравшимися на берегу, машущими вслед поселковыми жителями, приобшившимися к высокому искусству, отбыли.

Вышли в море. Приняли там, на борту, еще хорошенько, разгулялись, вместе с командой повеселились всласть, — благо питья было с собой — хоть залейся.

А потом... А потом никто ничего уже и не помнил — что там было потом. Все, как говорится, вырубилось. Разом. То есть отключились. Уснули.

Через какое-то трудноопределимое время самым первым очнулся, кое-как пришел в себя Леонард.

Он выбрался из каюты наверх и долго стоял, с трудом соображая, где он сейчас находится.

Мотор внизу невозмутимо и монотонно гудел.

Катер шел себе да шел, рассекая носом все увеличивающиеся, прямо на глазах, волны. Шел — неведомо где и неведомо куда. Вокруг было — только море. Сплошная вода. Ни малейших признаков берега не было видно. Катер словно висел между колоссальной массой широко плещущейся, уже рокочущей воды и хмурыми, набрякшими влагой, исполосованными ветром небесами.

Над катером с отчаянными криками носились встревоженные чайки. В их крике читалось желание пристроиться на этом вот катере, на этой посудине, рядом с людьми, и переждать надвигающуюся непогоду. Похоже, назревал шторм.

Несколько протрезвев, Леонард попробовал разбудить команду катера, всех по очереди: капитана, рулевого, матроса.

Но куда там! Они крепко спали. Они были мертвецки пьяны. Брошенный без присмотра, на произвол судьбы, штурвал покачивался, слегка вертелся, двигался, сам собою.

Мотор исправно работал. Катер шел в никуда.

Не удалось разбудить и никого из артистов.

Что-то надо было ведь срочно делать! Что-то необходимо было немедленно принять! Иначе... Иначе всякое могло быть.

И тогда Леонард сам встал за штурвал.

Сроду он этого раньше не делал. Понятия никакого не имел, что это такое — вести катер правильно по курсу.

Какой там курс! Куда — вести? Как — вести?

Где он, компас? Где вообще — север, юг, запад, восток? Резкий ветер свистел, завывал за распахнутой дверцей рубки. Отчаянно кричали чайки. Горизонт покрывался мглой. Хлопья и волокна тяжелой, густой, безразлично нависающей над морем, серой мглы были уже рядом, наверху, по сторонам, везде.

Леонард решил действовать, как Бог на душу положит. По наитию, по чутью.

Он стоял за штурвалом — и куда-то вперед и вперед вел катер, в каютах которого дрыхли вдрабадан пьяные люди.

Он вел катер, ощущая сейчас ответственность свою — за то, что он делает, за всех товарищей своих.

Он был уже совершенно трезв.

Как в детских мечтах, ощущал он себя опытным, прекрасно знающим свое морское дело, суровым, хоть и несколько романтичным по натуре, не лишенным сентиментальной жилки, но прежде всего практичным, хладнокровно рассчитывающим все свои действия, а потому и удачливым капитаном.

Иногда мелькала в голове и шальная мысль.

Велик был соблазн — вот взять да и вырулить не в один из сахалинских портов, а напрямик в Японию!

Был же здесь случай, да и не один, когда пьяный мужик засыпал — в лодке с работающими моторами, а просыпался — там, в Стране восходящего солнца.

Что почувствовала бы труппа драмтеатра, если бы пробудилась за границей?

По расстоянию — не так уж она и далеко отсюда, эта заграница. Капиталистическая. Но и восточная. И даже дальневосточная. Следовательно, со своим, особенным, неповторимым колоритом. И то сказать! Острова. Города-мегаполисы. Промышленность. Но там же, поскольку все у них там поблизости одно от другого находится, совсем рядом — и природа. Горы. Храмы. Саке. Сакура. Высоко в облаках — Фудзияма. Узорные кровли. Фонарики. Гейши. Самураи. Мечи. Обычаи. Домики, вроде игрушечных. Иероглифы. Бухты. Сопки. Куросава. Акутагава. Хокку. Танки. Душистый чай. Словом, сон. Или просто грезы. Тем не менее для кого-то — это явь. Повидать бы однажды, хоть одним глазком, эту явь!..

Но Леонард отгонял от себя подобные мысли.

Он был сейчас — один за всех. Он принял решение. И он обязан был это свое решение — выполнить. Должен был всех, по существу, спасти.

И он привел катер к берегу!

Уже стемнело, когда Леонард разглядел далеко впереди тускло мерцающие сквозь сплошную пелену мглы портовые огни.

Он растолкал капитана. Вылил на него ведро воды. Разбудил-таки. Непросто было это сделать.

Капитан, чертыхаясь, вылез наверх, поглядел вокруг, потом — на мерцающие огни порта впереди, потом взглянул внимательно на Леонарда и выдал:

— Ну и ну! Дела-а!..

Еще разок, попристальнее, поглядел на Леонарда:

— А ты, брат, герой!

Леонард показал ему на штурвал:

— Ты хоть сейчас доведи катер до порта!

— Сделаем! — живо откликнулся капитан.

Он на глазах трезвел. Он понимал, что стал свидетелем чуда.

— Надо же! — сказал он. — Выручил, брат. А то... могли бы и того!..

— Могли бы, — сказал ему Леонард, — да не стали. Передумали. Некогда нам. Пожить еще надо.

— Это уж точно, — поддержал его капитан, — пожить всем нам еще ох как надо!

Он крепко ухватился за штурвал и привел переваливающийся с волны на волну, иногда захлестываемый солеными водяными выплесками и жгуче-холодными брызгами катер в порт.

Артисты начали просыпаться только тогда, когда катер уже пришвартовался. Они вылезали один за другим наверх, не вполне еще осознавая, где они сейчас находятся.

Капитан рассказал им — кто их спаситель.

А Леонард только отшутился:

— Мог бы в Японию вас привезти, да передумал: кому вы там нужны? Выбирайтесь на берег. Живите на Сахалине. Здесь вы нужнее. Творите искусство, жрецы прекрасного!..

Только и всего.

Артистичность сказывалась в его повадках, в манере поведения, в умении говорить — не показная, а врожденная. Даже в том, как он одевался — вроде бы и небрежно, во что придется, без изысков, без дурацкого следования моде, было бы удобно, да и все тут, — была видна его артистичность.

В его юморе, выручавшем его в тяжелых ситуациях, в его иронии, совершенно не злой, а, наоборот, добродушной какой-то, теплой, домашней, которую и иронией-то не назовешь, а скорее — ворчанием, бурчанием, в котором так и высвечивались на ходу придуманные афоризмы, парадоксы, полуабсурдные, шквальные, налетающие вдруг — и исчезающие, сами по себе, когда надоедало, речевые построения, в его смехе и его молчании, в его умело выдерживаемых при разговоре паузах и неожиданных, прорывающихся к собеседникам, всегда оригинальных, предельно насыщенных смыслом, интереснейших монологах, в его восхитительном умении поддерживать диалог, вести беседу, в его импровизациях, — везде, во всем, что исходило от него, что было частью его самого, что было выражением всегда чего-то подлинного, оправданного, серьезного, значительного, что в избытке имелось в нем, во всем естестве его, — жила, вспыхивала, сияла высокая артистичность.

С ней удивительным образом сочеталась врожденная же деликатность, бережность в отношении к людям.

Поджарый, светлоглазый, легко закидывающий крупную, породистую голову, устремленный вперед, он незамедлительно откликался на зов, готов был прийти на помощь.

Он сохранил в себе детскость.

Выражалось это чуть ли не во всем, к чему он прикасался, о чем рассуждал, что опять-таки исходило от него, являлось частью его сущности.

До седых волос жила в нем мальчишеская страсть к футболу.

Завидев мяч, он буквально трепетал. В нем назревал порыв. Он готов был все бросить — и мчаться к мальчишкам, гоняющим старый мяч во дворе, носиться с ними

вместе по траве, кричать, жестикулировать, спорить, завладевать мячом, бить по нему, чтобы влетел в ворота, чтобы забить — гол!

Он, бывало, и не удерживался. Срывался с места, бежал к играющим, с ходу включался в игру.

Мальчишки мгновенно его понимали и принимали — к себе.

Он чрезвычайно всегда дорожил этим футбольным, почти кастовым, полуфронтальным, братским пониманием.

В детстве была у него еще одна страсть — шахматы.

Он, седые усы поглаживая, улыбаясь чему-то далекому, своему, давно миновавшему, рассказывал мне о том, как летом сорок первого года, когда объявили о начале войны, он, десятилетний питерский мальчик из хорошей семьи, находившийся в это время далеко от дома, в лесном пионерском лагере, недолго думая, пешком ушел оттуда домой, зажав под мышкой единственную драгоценную для него вещь — коробку с шахматами, — и шел долго, упрямо, со всяческими приключениями в пути, к своей цели, — и сумел так вот, самостоятельно, добраться до Ленинграда, откуда был родом, где жила его семья, не чаявшая уже, в такие-то страшные дни, увидеться с ним, и через весь город прошел до своего дома, и, усталый донельзя, голодный, но все трудности путешествия преодолевший, зашел наконец в знакомый подъезд, поднялся по лестнице до квартиры своей и позвонил, — и ему открыли дверь изнервничавшиеся и потрясенные неожиданным его появлением родители.

Он весь был — сама непосредственность.

И в то же время это был человек вполне светский, завсегдатай концертов, театрал, желанный гость во всех московских и питерских мастерских, литературных салонах, да и просто — в квартирах и комнатах друзей, где всегда ему были рады.

Тексты свои вслух читал он нечасто, но каждое чтение его помню я так отчетливо, словно происходило это лишь вчера.

— Играя обрывком державинской фразы (в уме застряла, в руке — пион), лоша загар пшенично-праздный, парень шел на выпивон. И тень его безудержной красоты желала вспыхнуть, аки керосин. И недовольствами дыша, его подруга (под ручку все же шла) его поругивала, что называется, в душе. И вечер приступал уже, дрожал автобус пятьсот тридцать первый, заполненный впритык к отъезду; и небо, обновляя перлы, атлас швыряло на отрезы; клубился пыли океан (за пылью всякий океан); и в поле лени, точно поленья, стояли очередью люди. Грядущим томясь расстоянием, как канонадьем орудий и из толпы речей иных — как бы досталось сесть место — не слышно: все обречены соседа локоть знать стамеской. Но полагать пыталась дева, что к жизни шаг еще не сделан. А державинская строка порхала упрямо, ярка и легка: «АХ! КТО СПАСЕТ НЕЩАСТНУ? КТО ГИБЕЛЬ ОТВРАТИТ?»

Впервые Леонард читал мне эти стихи году в семидесятом, волнуясь, нервно перебирая большие листы с аккуратно перепечатанными текстами, — а рукопись эта все разрасталась и вскоре стала книгой стихов «Неведомый дом».

Книгу эту по просьбе Леонарда я несколько позже перепечатал в четырех экземплярах. Три экземпляра отдал ему, один оставил себе. Это было самое первое, самиздатское еще, машинописное ее издание.

С тех пор стихи Леонарда сопровождали меня всюду, где только я ни бывал. Я читал их своим знакомым, делал и раздаривал самиздатские, различных объемов, перепечатки.

Мне очень нравилась поэзия Данильцева. Я остро чувствовал ее подлинность и оригинальность — и старался передать это свое восприятие и всем тем, кого считал способным оценить такие стихи по достоинству. Доходили они до людей не сразу и не про-

сто, но если уж это случалось, то я ликовал и считал своим долгом сказать Леонарду о постепенно расширяющихся рядах его приверженцев.

Он хмыкал что-то, отмахивался и не забывал сказать, что и не надеется на скорое понимание. Но все равно видно было и ясно, что ему это и важно, и крайне приятно.

Господи, как мало надо порой поэту, чтобы он воспрял духом! Сколько все-таки оно значит, это вовремя сказанное, доброе, искреннее слово!

Держать в себе годами целый мир, свой мир — и честно, смиренно нести его с собой, беречь его, не допускать по возможности слишком уж грубых, иногда и жестоких, бесцеремонных вторжений в него — извне, со стороны, от чужих, из толпы, из бессмыслицы повседневной, строить, создавать свою речь, как корабль, как целую армаду кораблей, быть абсолютно одиноким среди равнодушных современников — и спасаться вниманием горстки близких людей, поддерживать огонь творчества в условиях бесчашья, — как это все мне знакомо, как понятно, — до вздоха, до слез, — и особенно сейчас, когда столько особенно дорогих для меня друзей уже нет на свете!..

Нет их в живых, понимаете?

Осталось только их творчество. Только оно.

Вот оно и живет.

А тогда...

А тогда Леонард говорил:

— Милый друг! нам не странны обиды мелких тяжб: кто быстрее пробежал, кто скорей человек. Нам легко, нам красивы сияния рек! Милый друг! нам не страшны обиды.

Он еще тогда, на грани шестидесятых и семидесятых, одним из первых предчувствовал глухо зарождающееся далеко впереди нынешнее междувременье, как бы время.

Он чувствовал, что надвигается на всех кошмар, грянет смута и всеобщий развал, разрушение всех норм и правил, разрушение традиций, преемственности, связей, когда все будет перевернуто с ног на голову, когда бред достигнет своего апогея, когда вторжение темных сил будет уже слишком очевидным — и придется найти в себе мужество, чтобы бороться со злом, свято веруя в то, что добро непременно восторжествует в мире.

Он предвидел грядущий хаос и создал потрясающее стихотворение — «Уизз»:

— И вихрем примчится Уизз, примчится из требутика — «Уызз! Уызз! Уизз-з!» И изморозь соберется шершавой корой, персидским ковром изворсится, не в силах противостоять пернатому протоколу с пером в ухе клюва — Уизз! Уизз! И дважды всего лишь игала гла, но однажды все ж гладь разлагалась. Но примчится, примчится Уизз! И зябнувший глянец постели последней гримасой сожмется пронзительному заимодавцу. И пар испустит зимы вдовец! И ложе, постылое навсегда, на память планетам другим тепло лежебоков оставит и тепло сладострастной беглянки, и тяжесть мемориального лба. И займутся края голубым, но свирепо холодным, как Ладога, пламенем. И новой жизни слепая Горилла восстанет из голубого горнила и, потрясая космами, как святая Тереса, скажет: УАЗЗ!

Вот и не пробуйте даже отнекиваться нынче от пророчества.

Не выйдет. Принимайте его как есть.

Уже написано. Сказано.

В прозрении сказано — им, Леонардом.

Крупный поэт, с восхитительной, ребяческой изумленностью перед раскрывающимся ему миром, с обостренным зрением, с полифоническим звучанием некоторых

отдельных вещей и сложным, близким к нашей новой авангардной музыке звучанием общим, со своей интонацией, легчайшими мостиками связывающей понятия и смыслы, тяготением и явной любовью к наиву, к игровому развитию темы, он одновременно и аналитик, мастер синтеза, держащий все нити ходов и связей в руках, своеобразный очевидец и летописец эпохи, тоже создавший свой образ времени.

Он еще с должным вниманием не прочитан, толком не издан.

Вышедшая в девяностом году книга «Неведомый дом» — только часть сделанного им.

К публикациям относился он равнодушно, по редакциям сроду не ходил. Понимал всю бессмысленность и бесполезность такого хождения. Терпеть не мог унижаться. Ненавидел глупость, во всех ее проявлениях, в том числе и редакторскую, в советское-то время, когда к ней прилагались еще и незаинтересованность, и малообразованность, и просто боязнь всего нового, необычного, на привычную печатную продукцию непохожего — и посему уже крамольного, и лучше с таким не связываться, на всякий случай, лучше сразу же отказать, забраковать, найти повод, чтобы возвратить тексты, и поводы, конечно же, находились, и так было спокойнее жить, держаться за редакторское место, и не надо ничего из ряда вон выходящего, даже более-менее оригинального — тоже не надо, лучше всего публиковать такое, что всем требованиям отвечает, такое, за что на душе спокойно, а все эти новации — нет, нет, не надо, не надо, подальше от этого надо держаться, товарищи, подальше, — нет, не подходит.

Отклик Леонард находил в своей среде. Нередко моего одного мнения для него было вполне достаточно. Ему важно было — быть услышанным. Так чего уж проще и куда спокойнее, вернее, надежнее — быть услышанным, вовремя, да еще и понятным, что особенно было важно, — мною одним.

Некоторые его тексты изданы на Западе. Как и у многих из нас, не обошлось без этого и у него. Проникали писания наши туда, в зарубежье. Всякими способами. Кое-кто, в эмиграцию отбывая, кое-что с собой вывозил. У кого-то — память отменной была, и там, далеко, в условиях полной свободы, появлялось желание записать то, что вспомнилось, а потом и опубликовать. Все западные публикации — ответвления самиздата. Продолжение такового. Поди гадай, что там выкинет он, самиздат, какие такие штуки, что там выплывет вдруг за границей и где напечатано будет! Не все, далеко не все доходило оттуда — к нам.

Коля Боков напечатал в первом номере своего журнала «Ковчег» рассказ Леонарда «Любовь идиота». Журнал этот я видел. Обложку к нему сделала Олеся Барышева, двоюродная сестра моей бывшей жены Наташи Кутузовой, жена композитора Алика Рабиновича. В шестидесятых Алик репетировал какие-то свои вещи с Лидой Давыдовой, женой Леонарда, и очень донимал трудолюбивую, но и так перегруженную своей концертной деятельностью, а потому и вечно усталую Лиду своей сверхповышенной требовательностью, на что она, терпеливая и воспитанная, среди своих потихоньку, бывало, вздыхая, жаловалась. Коля Боков к Леонарду относился с симпатией, прозу его любил, потому, видать, и напечатал. Саша Соколов позже рассказывал мне, как, живя в замке Монжерон, в башне, создавал Коля, вдохновленный возможностью свободной издательской деятельности, свой небольшой, но весьма интересный журнал. Между прочим, это именно Боков у себя в журнале впервые напечатал «Это я — Эдичка» Лимонова, в сокращенном виде. Помню, как все знакомые по очереди брали этот номер журнала на прочтение у владельца, Генриха Сапгира. Но это так, просто к слову. Не знаю, был ли Коля знаком со стихами Леонарда. Спасибо ему и на том, что рассказ напечатал.

Были вроде публикации в «Новом русском слове», еще где-то. Но и к ним Леонард не имел отношения, появились они сами по себе. Все в зарубежных изданиях по-

являлось тогда, будто не могло не появиться. Нас обычно уже перед фактом ставили — вот, мол, старина, у тебя там-то была публикация. Всезнаек тогда предостаточно было, несмотря на запреты, кордоны, на всю рискованность такого занятия — добывания зарубежной русскоязычной периодики и книжной продукции. И просто любопытство, и живой интерес, и действия на авось, и авантюрная жилка, и даже любовь к острым ситуациям — все здесь было вперемешку, все срабатывало, все шло в ход, а в результате мы время от времени получали возможность читать новинки, в которых иной раз обнаруживали и собственные тексты. Вот так и Леонард.

Подрабатывал он иногда тем, что писал сценарии мультфильмов, передачи о литературе для радио, но это не сложилось в систему, не было таким долговременным, как у других.

Он хорошо чувствовал детскую душу, детскую психологию — и мог бы стать отличным детским писателем.

Не случайно дружил он с Олегом Григорьевым. Говорил о нем с неизменной любовью, с безоговорочным признанием его таланта, приподнято как-то, радостно: «Олежка!.. Олежка!» Впрочем, все так и называли этого питерского парня с фантастической и жестокой судьбой — Олежкой. Шло ему это имя, дружеское, уменьшительное. Да еще и в сочетании со стихами его, якобы детскими, некоторые из них даже в книжке были напечатаны. «Прохоров Сазон воробьев кормил. Кинул им батон — десять штук убил». Вот вам и Олежка. Вспомнил сейчас, как увидел, совершенно случайно, уже в девяностых, по телевизору — мертвого Олежку. В храме. В гробу. С молитвой на лбу. Тихого. Могло показаться — спящего. А вокруг него — питерская братия, ветераны богемы...

В Леонарде жила всегда эта чудесная детскость, этот сохраненный им свет. Потому и привлекала его детская литература. Трудно было удержаться от того, чтобы не попробовать сказать в ней что-то свое. Он и говорил — свое. Сочинил было книгу прозы для детей, но после единственной и безуспешной попытки издать ее рукопись в сердцах уничтожил. Та же участь постигла и большую повесть «Тетушкин нос», над которой он долго работал. Но это была уже «взрослая» проза. И в ней, разумеется, все было — его, данильцевское, а значит — неповторимое. Жаль, что погибла она.

Стихи Леонард начал писать вскоре после того, как, познакомившись со мной, заинтересовался ранними моими книгами. Нет, не просто заинтересовался, но — сжил-ся с ними. Оказались они для него — необходимыми. Оказалось, что в их новизне — почва для собственных слов его. Стихи мои, со сразу же уловленными им частотами моими и волнами, на которых я работал, оказались для него, как сам он потом признавался, жизненно важными.

Они, по его утверждению, дали ему нужный импульс.

Этот самый импульс кому только не давали давнишние мои писания!

Леонард был слишком оригинален во всем и целен, чтобы кому-то подражать.

И я бесконечно рад, что мои более чем тридцатилетней давности вещи сослужили для него добрую службу, вызвали в нем потребность заняться поэзией.

Человек общительный, в начале семидесятых даже компанейский, которого и знали-то современники все больше именно в такой роли, Леонард целенаправленно, как-то незаметно и неожиданно для всей богемы сумел создать свой собственный поэтический мир.

Он был единственный, кого в нашей среде, как Галактиона Табидзе в Грузии просто Галактионом, все поголовно называли и до сих пор называют просто по имени — Леонардом.

Фамилия Данильцев известна, разумеется, всем, но она возникает обычно чуть позже, после паузы, выдержанной вслед за именем, вслед за главным — за именем.

Для всех он прежде всего — Леонард.

Леонардо да Винчи — просто Леонардо.

Леонард Данильцев — просто Леонард.

Когда в начале девяностых появилась возможность издавать книги, я сделал все возможное для того, чтобы обязательно вышла и книга Леонарда.

Со своей стороны все возможное для скорого издания книги дорогого для нас человека и друга сделал Анатолий Лейкин. Он взял на себя все хлопоты по производству. Он проявил натуральный героизм в осуществлении поставленной перед собой цели. Он был в этой истории, в ситуации этой просто молодцом.

И книга Леонарда вышла.

Как я рад, что вышла она еще при жизни его, что имел он эту возможность — видеть свою книгу изданной типографским способом, а не напечатанной на машинке, впервые — мною, потом — и другими, существовавшей в самиздате когда-то, в те долгие годы, когда всем нам казалось: да кто его знает, в какие времена писания наши, при такой-то жизни, в таких-то условиях, увидят свет? — да и увидят ли вообще? — тоже ведь вопрос к самим себе не из легких был, хотя внутренняя, самая главная, уверенность все-таки была и говорила нам, ну в точности как мой киевский друг, волшебник Маркус, Марк Бирбраер, в письме ко мне: книги — будут!

Вот именно! Книги — сбылись.

Книга стихов Леонарда Данильцева «Неведомый дом» существует вот уже три десятка лет. Живет. Речи его и впредь — быть!

Когда на заре свободного отечественного книгопечатания мы с Лейкиным готовили эту книгу к изданию, я написал к ней послесловие.

Толя придумал для него название — «Войдите в неведомый дом».

Помню, как я прочитал свое послесловие Леонарду по телефону, чтобы поставить его в известность, что я о нем говорю.

И услышал его растроганное:

— Замечательно! Спасибо тебе, Володя!

— Можно было, конечно, больше, подробнее написать, — вздохнул я тогда, еще волнуясь, но уже постепенно и успокаиваясь, — однако согласись, всему нужна мера. То, что считал я важным и нужным сказать о тебе, то и сказал.

— Да, для меня самого это важно, — заверил меня Леонард, — а написал ты здорово!

— Ты ведь давно знаешь, как я отношусь и к тебе, и к твоим стихам, — сказал я ему. — Пусть и люди знают об этом.

Он еще не был тогда так отчаянно, так безысходно болен, как в середине девяностых, он еще чувствовал в себе немалые силы, он вообще был жизнелюбом, давний мой друг Леонард.

Ему оставалось жить еще семь лет.

И все эти годы он не сдавался, держался, как мог. А он ох как умел — держаться! Он работал, работал. Если не писал, то рисовал. Много рисовал. Он шел, как всегда, — к свету, к сути. Он шел — вверх.

— Одна звезда стояла в небе.

Это из его стихотворения, черновик которого я долго хранил, а зимой девяносто четвертого, когда он жил у меня в Коктебеле, разыскал среди своих бумаг и отдал ему — для работы.

Я уверен, что работа его продолжается и там, где он сейчас.

В небе... Звезда...

Вот оно, мое послесловие к Леонардовой книге стихов.

Есть люди, чье присутствие в мире, в движении жизни, в судьбе столь важно и естественно, что с годами начинаешь осознавать существование такого человека, связанного с тобою свыше узами таинственного родства, как неотъемлемую часть дарованного однажды и все более открывающегося тебе бытия. Таков для меня Леонард Данильцев — замечательный русский поэт, своеобразнейший прозаик, тонкий живописец, давний друг, благородство и внимание которого — вне сравнений и категорий, соратник, незаменимый собеседник вот уже четверть века.

Все это — отнюдь не славословие, не набор броских эпитетов.

Достоинства и дарования Данильцева — при нем.

Тем более он никогда никому себя не навязывал, скорее наоборот, — будучи яркой фигурой в среде московской творческой элиты, всегда выделяясь в ней, предпочитал он оставаться чуть озорнов, избегал шумихи и суеты, хотя многие токи и нити так и тянулись к нему, он словно замыкал собою некую общую цепь, его мнение было порою решающим, к суждениям его прислушивались, всюду был он желанным гостем.

Этот образованный и умный человек, вполне светский, непохожий на богемных литераторов и художников эпохи шестидесятых—семидесятых годов своей немного старомодной, чудесной воспитанностью, интеллигент до последней кровинки, петербуржец по рождению (он и родился-то в том же доме, что и Блок), москвич по временам становления личности, с послевоенных лет, по складу и широте души, выросший в семье художников, с детства впитавший дыхание искусства, имеющий два высших образования, работавший как актер в различных театрах, и как профессиональный художник, вовсе не на глазах у всех, а словно втайне, в тиши, при условии душевного равновесия, как-то деликатно, без афиширования, поступательно, но упорно создавал свой, неповторимый художнический мир, находил тот сложнейший синтез, тот уникальный строй, который дал ему возможность поразительным образом соединить в его поэзии слово и музыку, отточенное живописное зрение и пронзительно острую мысль, парадокс и неумолимую логику, озарение и жесткую хронику, весь хаос незабываемого времени и всю новую гармонию его, — то есть, при всей верности устоям, традициям, он вырывался к новизне восприятия действительности, к новым формам выражения этой единственной в своем роде российской жизни, давал стиху свободное дыхание, раскрепощал и вместе с тем укреплял, утверждал его, шел к разъятости, к сердцу сути, включая в работу весь свой опыт, все органы чувств, доверяясь интуиции, чутью, веря в чудо речи, — и лирика ли это, если вся она озарена долговечным светом эпоса.

С Леонардом меня познакомили когда-то Наталья Горбаневская, стихи которой я высоко ценил, и Наталья Светлова, ныне жена А. И. Солженицына.

Давно снесли деревянный дом на Трифоновской, где собирались мы тогда, в квартире у Ляли Островской, несколько близких по духу людей.

Леонард, худой, поджарый, со светлым огоньком в глазах, легко закидывающий крупную голову, со своими рокошуще-струящимися интонациями, привычкой как бы подчеркивать, завершать каждую фразу, с умением слушать, с его манерой непринужденно и просто держаться, напоминал то ли чувствующего себя своим среди своих шляхтича, то ли — таков уж был проступающий где-то там, за пронизательным, усталым взглядом, его дальний облик — заезжего рыцаря.

Он читал свою отменно хорошую прозу — отточенные, небольшие, по несколько страниц, серебриющиеся россыпями звонкой фонетики рассказы.

Я читал свои стихи.

Мы сдружились — как теперь выясняется, навсегда.

Все сложилось как-то само собою.

Мы и жили неподалеку друг от друга, и среда была одна, общие друзья и знакомые, — вот и потянулись годы прекрасного человеческого и творческого общения, оглядываясь на которые, несмотря на все пережитые тяготы и беды, вижу я и понимаю особенное их значение, драгоценную их красоту, подлинность и поистине высокую духовность — выжившую сквозь все драматические и трагические обстоятельства и события, стоявшую, укрепившуюся и победившую, выраженную в творчестве.

В самом начале семидесятых я прочитал поразившую меня своей ненавязчивой, но полнокровной, органичной силой и талантливостью книгу стихов Леонарда Данильцева «Неведомый дом».

Книга эта, я убежден, из тех, что остаются надолго.

Похоже, не одно поколение пишущих стихи людей почерпнет из нее для себя нечто полезное.

Данильцев, один из немногих в отечественной поэзии, после Хлебникова, Введенского, отважился пойти и дальше, сумел проторить новые тропы, по коим куда проще будет в дальнейшем шагать любопытным и жаждущим.

Никакого отношения к нынешнему поверхностному авангарду книга эта не имеет.

Здесь — поэзия прежде всего.

Вовсе не обязательно «схватывать на лету», сразу понимать и легко усваивать такие стихи. Они не нуждаются ни во всенародной любви, ни в поспешных похвалах. Их просто следует внимательно читать, а потом и перечитывать. Тогда и начинается их движение к читателю, к сознанию, к душе.

Чрезвычайно велика в поэзии Леонарда Данильцева роль музыки, особенно современной (жизнь этого поэта без музыки невозможно представить: друзья — лучшие наши композиторы, начиная с Андрея Волконского, многие первоклассные музыканты, жена — известная певица Лидия Давыдова, долгое время, после отъезда Волконского на Запад, возглавлявшая знаменитый ансамбль «Мадригал»), велика роль живописи (Данильцев и сам чудесный художник, а его друзья и знакомые с молодых лет — практически все современные значительные художники, из неофициальных превратившиеся ныне в широко известных и официально признанных в России и за рубежом — Игорь Ворошилов, Владимир Яковлев, Игорь Вулох, Михаил Шварцман, Олег Целков, Михаил Шемякин, Эдуард Зеленин, Илья Кабаков и так далее, иначе перечень будет длинным), но главное достоинство стихов Данильцева — в том, что они живут в стихии русской речи, ключ к ним — их великолепный язык.

По пальцам можно пересчитать сейчас тех современников автора, кто в родной речи — дома.

Леонард Данильцев, в отличие от бесчисленных, то ли приبلудившихся, то ли заблудившихся стихотворцев, не имеющих уха на слово, — хранитель языка.

Речь — его дом. Неведомый дом?

Да, ибо это дом жизни и вечности, духовности и веры, ясной любви и стойкой надежды, это дом, в котором жив огонь творчества.

Неведомый дом — это и страна наша, и Москва, и душа человеческая.

Это — дом поэзии. Неведомый.

Потому что если бы дом этот был ведом, в нем не жили бы Музы.

Поэтому и звучит в этом слове, в этом понятии светоносное — ОМ.

Леонард Данильцев — поэт из породы сеятелей.

Для меня это самое серьезное определение поэта, его значения.

Хлебников, Скворода, Державин — из породы сеятелей. Это — лучшее, что можно сказать о русском поэте.

Давать жизнь, продолжение, дыхание — Слову! Чувствовать себя — призванным. С честью выдерживать любое внешнее бремя во имя сохранения Слова, устремления

его в грядущее, и этим сбережения для потомков — нашего времени, укрепления связи времен.

Это ли не подлинный путь?

Семена, брошенные в почву отечественной словесности Леонардом Данильцевым, уже всходят и еще обильно, щедро взойдут в скором будущем, в приближающуюся эру Водолея, для блага многих.

Людам, для которых чтение книги Данильцева окажется делом нелегким, следует помнить о том, что она — часть действительно сложной, многообразной, только начинающей приоткрываться культуры, созданной за минувшее тридцатилетие, культуры именно нашего, небывало сложного времени.

И не надо ничего объяснять.

Стихи приходят к человеку — сами.

Толковать и анализировать их будут — потом. Но будут, так уж заведено.

Поэзия Леонарда Данильцева сформировалась и существует вне политических игр.

Она говорит сама за себя.

На шестидесятом году жизни у Леонарда Данильцева издана первая книга.

Входите же в этот неведомый дом.

На то она и память, чтобы в ней, в удивительной этой области, или целой стране, или яви своеобразной, свободно перемещаться в любом направлении.

В данном случае, в моем случае — преимущественно в сторону прошлого.

А что делать! Ведь то, что было буквально мгновение назад настоящим, сразу же, не успеешь и глазом моргнуть, становится прошлым.

В неумолимости этой есть нечто предопределенное.

Как в копилку, словно в странное хранилище, где чего только нет, уходят — все туда, в былое, — годы мои, дни мои да и мгновения даже, поскольку из них-то, поначалу незаметных, имевшихся, казалось, в предостаточном количестве, а на поверку все убывающих, ускользающих от меня, — и состоит моя жизнь.

И все, что было со мною — называется моим собственным, личным, кровным, если на то пошло, только одному мне и принадлежащим в этом мире, только мною одним и имеющим возможность быть выраженным в слове, только на меня одного и надеющимся, в этом смысле, более того — верящим в меня, требующим своего выражения жизненным опытом!

Господи! Как все просто. Как бесконечно сложно.

Надо же — путешествую во времени!..

На то она и память, чтобы возвращаться туда, где бывал когда-то, чтобы сызнова жить там, где уже проходили — и прошли ведь! — годы, дни и мгновения твоей, а не чьей-нибудь жизни.

Только странное нынче получается существование, пребывание — в тех, былых, временах. С грузом собственного опыта. Словно пришел я туда, где был молодым, отягощенный огромной торбой с этим самым опытом, с таким дорожным мешком, тяжесть которого безмерна, — и, однако, привычно, без всякого ропота, несу я эту тяжесть, постоянно чувствую ее за плечами — но она не мешает мне в пути, — что за чудеса такие? Иногда кажется мне, что в руке я сжимаю дорожный посох.

Все может быть. И есть. Особенно если существуешь не только в обычных трех измерениях, но и в прочих, столь же реальных, как и эти, затверженно-школьные.

А может, и в других мирах приходится бывать. Поди гадай. Того же опыта набираешься — только в движении. Все потом как-то само собою складывается, собирается воедино.

Все может быть. Со мною вообще все может быть. И бывает.

Меня всегда интересуют — пограничные состояния.

Они не просто мне интересны, они важны для меня.

В них наиболее сильно проявляется то, что в других состояниях дремлет или не торопится выходить на передний план.

Состояния души. Состояния — в природе. В судьбе. Пограничные. На грани.

Между сном и явью.

Между творческими периодами.

Между жизненными полосами.

Состояния — когда работает подсознание.

Состояния — когда крепнет дух.

Состояния — когда определяется путь.

Состояния — в которых начинаешь чувствовать свет впереди — и идти к нему, выходить на него — из мглы, из тьмы, из сложностей всяких.

Состояние — предстояния.

Перед Богом.

Вот и в этой книге, как я погляжу, интуитивно, по чутью, как и всегда, говорю я — о пограничных состояниях, в жизни своей и в судьбе.

Достаточно внимательно прочитать мои стихи, чтобы увидеть целую галактику этих состояний.

Да и в мире сейчас — разве не пограничное состояние?

Век — на исходе. Был. Миновал. Новый век забрезжил. Где-то рядом. Пришел. Идет.

Но — куда? Поживем — увидим?

Что впереди?

Грань.

Узкая фаска лезвия.

Вот мы где с вами нынче находимся.

Слава богу, что есть — память.

Вспоминаю Леонарда — в его тесной двухкомнатной квартире, этаким стандартном — но и на том спасибо, в те-то советские годы — пристанище интеллигентной московской семьи, в пятиэтажном доме, расположенном в одном из проездов Марьиной Рощи.

Некое выделенное для жилья пространство было плотно, несколько хаотично, заполнено предметами быта, всем самым необходимым, без всяких излишеств и уж тем более — даже без отдаленных намеков, а не то что признаков роскоши. Какое там! Тут прожить бы просто. Выжить. Вот и все.

Пианино. Тахта. Стол. Книги. Детские кровати. Табуретки.

На стенах висели работы Ворошилова, Яковлева, Зеленина, Шемякина. Подарки, разумеется.

Были здесь и небольшие работы Валентина Серова, родственника Лиды Давыдовой, Леонардовой супруги. Выглядывали кое-где из углов задвинутые туда, подальше, поглубже, давние холсты и картоны самого Леонарда, вещи, от которых он в шестидесятых и семидесятых только отмахивался и которые в конце восьмидесятых напомнили ему о себе, вернулись к нему — и получили продолжение и развитие во многих сериях живописных работ, ярких, своеобразных, опять-таки очень его, личностных, сразу же узнаваемых, запоминающихся, полновзвучных, сильных, что, впрочем, всегда и отмечалось в девяностых знатоками, а на единственной прижизненной выставке

в Фонде культуры было воспринято зрителями как явление, а некоторыми — и как откровение, — но все это происходило позже, — а пока что о существовании этих спрятанных от людских глаз работ знал только я, друг их автора, да еще считанное количество друзей. Была у Леонарда и работа Пикассо. Мужской портрет. Графика. Хорошая работа. Пикассо подарил ее брату Леонарда, художнику. Она висела в прихожей. Леонардова тетка, женщина идейная, правильная, всего на свете опасавшаяся, постоянно боявшаяся, как бы чего не вышло, на всякий случай однажды взяла да и отрезала подпись Пикассо вместе с дарственной надписью, чтобы работа ничем особенно среди других не выделялась. А то вдруг — мало ли что? Еще придрататься могут — откуда связь с границей? Прodelала она эту свою экзекуцию потихоньку. Поначалу никто ничего и не заметил. А когда заметили — только руками развели: ну что теперь поделаешь? На том и успокоились. Только иногда эту историю курьезную, под настроение, вспоминали. Но я эту подпись Пикассо, такую выразительную, известную всему миру, с размашистой дарственной надписью, искренней, доброй, по тону почти приятельской, еще застал и хорошо помню.

Лида Давыдова, жена Леонарда, постоянно была в разъездах, на гастролях. Леонард отбывал положенные часы на работе, потом возвращался, сидел дома с детьми.

Но иногда, истомившись в однообразии дней, пускался он и в путешествия по столице, по очереди, дом за домом, навещая многочисленных знакомых. Само собой, выпивал. И крепко, бывало. Помню, появился он как-то у меня около полудня, бледный, измотанный. Оказалось — с утра ходил по Ботаническому саду в поисках брошенных пустых бутылок, чтобы собрать их, сдать — и хоть немного пивком опохмелиться. Занять денег у приятелей совесть не позволяла. Да и гордость. Вот и терпел. Мучился, страдал, но упрямо бродил по траве, под деревьями, шарил по кустам — не блеснет ли оттуда бутылочное стекло? И собрал-таки некоторое количество посуды, сдал в приемный пункт стеклотары, отстояв длиннейшую очередь, и полученных денег в аккурат на пару бутылок пива хватило. В этом весь он был. Не докучать людям! Не просить! Не унижаться никогда ни перед кем! Любые обстоятельства в жизни принимать смиренно, мужественно, с достоинством.

Жили мы в шестидесятых близко друг от друга. Я к Леонарду в гости пешком ходил. Неподалеку от него жил Виталий Пацюков со своей женой Светланой — люди, с которыми в ту пору я дружил. Сравнительно близко от всех нас жил и Саша Морозов со своей Аллой.

Если обозначить четыре точки на плане Москвы, в которых находились наши дома, и соединить их линиями, то получится вытянутый ромб.

Кристалл — соли? кварца?

Может, и магический кристалл.

В условиях советского Египта дружбой все мы тогда дорожили.

В Марьиной Роще горел огонь духовности.

Может быть, отсветы его остались там и до сих пор.

(...Спит Москва, — Виталий Пацюков, признанный исследователь знания, точно отпущение грехов, мне дарует дружбу и внимание — все ему понятно на земле, названной Москвией, — и, видно, книги залежались на столе вынужденно, преданно и скрытно, тихими страницами шурша в мире обобщений и деталей, — и моя мятежная душа вопрошает: «Что с тобой, Виталий? Где ты? Не уехал ли куда? Выбрал ли из вороха событий, частые меняя города, то, что сокровенней и открытей? Близится неспешно Рождество, юность вспоминается и младость, как высокой веры торжество, рядом есть Нечаянная Радость. О чередование волшебства с таинствами снежного обряда! Сгинув-

шая осени листва, выбранная облака отрада! Снег лежит повсюду и везде, хлопья оседают на балконе. Где-то поклоняются звезде, где-то доверяются погоне. Зимняя декабрьская пора, краткие ухватки ветерана — ветра, прилетавшего вчера, вечера, взирающего странно. Города несгинувшего гул, деревья несогнутого вымпел. Что же до сих пор ты не уснул? Или что тревожное увидел?» Нет, не разрешаю я беде, преданному дому угрожая, холод, возникающий нигде, вырастить подобьем урожая! Снег ли где-то сбрасывают с крыш, форточки ли к ночи открывают, Ты не сокрушишь и сохранишь тех, кто признают и понимают чуткое дыхание мое, теплое биение участия, — дружеское вижу я жилье — дай же им сочувствие причастия, Бог, сопровождающий людей в странствиях, причудах и покое! Жить бы вам четою лебедей — вправе ль я предсказывать такое? Вправе! Благо дружбе не пропасть — так она, чудесная, желанна. Все придет, наговоримся всласть, — ну-ка согласись со мной, Светлана!

Чуть подальше, сразу за мостом, дом стоит меж прочих, ну а в нем друг мой проживает среди зимы с Лидою и малыми детьми. Веет пеньем — это ли не нард? Что лета! — Не так ли, Леонард? Пусть себе, несносные, летят, музыку не трогая, как сад. О певец Неведомого дома! Сколько раз, течением влекомы, виделись мы! — Так ли иногда дружбою людей соединяет, что разъединяет города, облик укрощает и меняет, но не пробирается в сердца? Что за беспокойство? Что за чувство? Где определение его? Книжки нам не скажут ничего — вот и проявление искусства! В роли летописца и отца, то ли умудрен, а то ль рассеян, в опыте недремлющем остер, ты не отрекался от России, ныне превратившейся в костер, снежный ли, осенний ли — кто знает! — стекла ли двойные замерзают, дети ли, как водится, растут, время ли распахивает двери, в грустный зазывая институт, где что ни мгновенье, то потери — что тебе! Хранитель языка, ты не предавал его — отселе вынесший листву и облака, рвение воинственное к цели, смешанную кровь его и плоть, жив ты — и хранит тебя Господь!

Посреди разборчивых запросов Александр Григорьевич Морозов жив и существует, как всегда, преданно, светло и борогато, — даты, промелькнувшие когда-то, дороги теперь, как никогда, дружбою устойчивой и чудной, праведной, живой и многотрудной, — свидеться бы, что ли, Александр! Да не так поспешно, как на юге, где растенья странны и упруги, не поймешь, где мир, где олеандр, и, однако, все многоголосье зиждется на крепнущем вопросе: что же нас с тобою занесло в милую Тавриду? Не бывало, чтобы дружба просто миновала! Ничего быльем не поросло! Что теперь жилье твоё? Что Алла, ласкова, красива и умна, словом, настоящая жена? Чаем угостила бы опять! Что твои причуды? поученья? рукописи? гости? увлеченья? Вижу я, всего не сосчитать! Встретимся по-прежнему опять — тут и разговоры, и зима. Жди меня — соскучился весьма!..)

Весьма. Уж точно, весьма.

И зима. Без разговоров.

Были. Но — наступило как бы время.

А тогда, в начале семидесятых, — горел свет в наших окнах.

Тогда — были дружбы, общение было.

И духовности жаркий огонь всех нас разом в ночи согревал.

Тогда — вспыхивал над столицей, переливался в темноте своими гранями, сиял во мгле бесчасья магический кристалл.

И многое сквозь него — уже тогда я с грустью различал.

Нет Империи. Дружбы в разброде. Нет Египта советского. Нет многих прежних друзей. Мир — на грани, за которою — все-таки свет.

А тогда, в пору «Отзвуков праздников», у себя, в глуши, в провинции, в одиночестве, — как я рвался к вам, бывшие друзья! Как ждал я встречи с вами! Представлял себе: вот приеду, появлюсь наконец с новой книгой. Увижу всех. Голоса ваши услышу. Ждал — чего? Что — уже прозревал?

(...Ах, дождусь ли пламенного дня, средь московских будучи ленивцев? — навестит, наверное, меня Леонард Евгеньевич Данильцев, — зазвонит в квартире телефон, зашуршат, как слухи, манускрипты, — и тогда-то новый Манефон сочинит историю Египта.)

Вот и пишу свою книгу теперь.

Потому что — пора пришла.

Зимой девяносто четвертого, в пронизанном ветрами феврале, коротали мы дни с Леонардом у меня в Коктебеле.

Мой закадычный друг, эрдель-терьер Ишка, разумеется, был рядом. С Леонардом он ладил. Знал: свой человек.

Леонард с ним, бывало, беседовал. Леонард ему говорил:

— Ты, Ишка, умный! Ты сам умеешь двери открывать!

Ишка слушал — и принимал это как должное.

Было не то чтобы холодно — ветрено, знобко.

Я-то — привык уже. Может, и закалился даже. И немудрено — три зимы здесь провел. Киммерийского опыта поднабрался.

Леонард — мерз. Кутался в шарф. Надевал на себя побольше теплых вещей. Кряхтел, вздыхал. Говорил с грустью:

— Я уже старик!

На что я тут же возражал:

— Ну какой ты старик! Ничего подобного. Ты еще — о-го-го какой крепкий. Живи здесь, у меня, подольше. Хочешь — отдыхай. Хочешь — работай, пиши.

А у самого сердце сжималось.

Леонард уже давно был болен. И прекрасно знал, что у него за болезнь. Чем был он крепок — так это духом. Физически же он чувствовал ежесекундно, что разрушается. Он держался за жизнь. Боролся с болезнью. Периодически одерживал он победы — и это его окрыляло. Тогда он молодел, светлел. Но состояние порой и ухудшалось. И тогда видно было, что приходится ему несладко, да просто туго. И смотрел он куда-то вперед перед собою, будто там отчетливо различал неизбежное.

Тяжело мне было видеть страдающего друга.

Ни единой жалобы не слышал я от него. Просто — ясное осознание того, что есть, что с ним стряслось, только и всего.

Дух его был — свет. Свет озарял — путь.

Леонард привез с собой свои рукописи. Пытался иногда работать. Что-то записывал, низко, всем корпусом, склоняясь над листками бумаги, постепенно заполняемыми его крепким, отчетливым почерком, нависая над столом широкими плечами, еще сильными руками, словно паря, как большая, нахохленная, полураскрывшая крылья птица, скорее всего — «как больной орел».

Подолгу смотрел за окно, на Святую гору.

Вдруг резко поднимался, подходил ко мне — и, пристально глядя мне в глаза своими несколько выпуклыми, усталыми, просветленными, голубыми, но с белесоватым налетом и от этого казавшимися совершенно седыми, умнейшими глазами — глазами духа, глазами света, — говорил:

— Володя, пиши! Пиши воспоминания. Ты очень многое знаешь. Пиши книгу об этом. Обо всех. О том — нашем — времени. Пиши несколько книг. Но только работай,

работай! Пока голова у тебя ясная, пока мозг светел — пиши! Возраст такой у тебя — в самый раз это сделать. Потом — кто его знает? Потом и поздно бывает. Лучше — теперь. Прямо сейчас. Я знаю: ты напишешь. А кто еще об этом сумеет написать? Прошу тебя, пиши! Я верю: ты сумеешь, ты напишешь. Пиши. Пожалуйста, пиши, Володя!..

Обещал я ему — написать эту книгу.

Слово дал я тогда — рассказать о былом.

* * *

Стихи Арсения Александровича Тарковского я давно и по-настоящему любил.

Был Тарковский мне и по-человечески дорог. В середине шестидесятых, в период нашумевшего и гонимого нашего СМОГа, он решительно, очень смело поддержал меня. Он способствовал моему восстановлению в университет. Никогда не любивший общаться с писательским начальством, предпочитавший жить замкнуто и независимо, поодаль от всей этой пишущей не только стихи и прозу, но и доносы, и жалобы продажной и грязной публики, он тем не менее в нужный момент, для того, чтобы помочь попавшему в беду молодому поэту, забыл о своей безгласности по отношению к официальной писательской публике и о своих принципах, пересилил себя, проявил характер, нажал на какие-то там нужные рычаги, задействовал кое-каких порядочных людей, поговорил, с кем полагалось, — и благодаря этим хлопотам, а также и хлопотам других тоже принимавших в этой истории участие людей, да той же Лидии Борисовны Либединской, по рождению — графини, но еще и вдовы советского классика, что давало ей возможность независимо и смело себя вести, хотя, впрочем, и своего характера у нее хватало, да и всегда внимательна бывала она к людям, — был я восстановлен в МГУ.

Чуть позже, после этих событий, окончившихся победой, Тарковский, известный за творник, сознательно согласился «работать с молодыми» — так это тогда называлось.

Наш знаменитый СМОГ взорвал изнутри всю московскую литературную жизнь. Так просто, без наказания, кому полагается, без бдительного надзора над всеми, ни власти, ни кагэбэшники оставить все это уже не могли. С молодыми надо было что-то делать, иначе — иначе мало ли чего можно от них еще ожидать? И так на Западе сколько о них пишут и говорят. Вся молодежь тянется к этим смогистам. Значит, прежде всего надо взять всю пишущую молодежь под свой контроль. Для этого срочно учредили разные литературные секции при Союзе писателей, непосредственно для молодых. Постановили — сделали. Но не назначать ведь руководить этими секциями кондовых своих литературных функционеров. Да к ним и на пушечный выстрел никто из молодежи не подойдет! Нужны серьезные, уважаемые молодежью люди. Для такого дела даже известные своей принципиальностью и определенной позицией по отношению к режиму поэты годятся. А что? К ним и пойдут. Ну вот, например — к Тарковскому. Предложило ему писательское начальство вести одну из секций. Тарковский взял да и согласился. И пишущая молодежь к нему не просто пришла — валом повалила. И плевать всем было на контроль и надзор. Поэзия — вот что было прежде всего и выше всего.

Арсений Александрович очень высоко ценил мои стихи. Это было — его собственное мнение. Это было — его суждение. Так он считал. Так и говорил.

Еще тогда, в шестидесятых, мне самые разные люди, с разных сторон, имеющие хоть какое-то отношение к литературе, сами пишущие или просто любители, всегда присутствующие на поэтических сборищах, то по отдельности, то порой и сразу в несколько голосов, говорили — со значением, с придыханием, с закатыванием вверх глаз и прочими, подчеркивающими, видимо, по их понятиям, передаваемые ими слова ужимками, гримасами и речевыми эффектами, все твердили, твердили, кто — полуше-

потом, кто — нарочито громко, чтобы все вокруг услышали, — что вот, мол, Арсений Александрович Тарковский уж так ко мне серьезно относится, уж так обо мне хорошо всегда говорит, что это прямо сверхсобытие, да и только.

Всем известно было, что Тарковский, человек вообще сдержанный в проявлении своих эмоций, да к тому же и чрезвычайно скупой на похвалы, если не сказать больше, так вот просто, для красного словца, говорить, а тем паче хвалить кого-нибудь никогда и ни за что не станет. Значит, есть, действительно есть что-то этакое в этом Алейникове, если Тарковский и тот расшедрился вдруг, перешел даже на всякие там высокие слова.

Надо заметить, что Тарковский, даже если ему очень нравилось что-то, чьи-нибудь стихи, допустим, не имел обыкновения говорить об этом в глаза. Не знаю, что им руководило. Быть может, усталость и горечь собственной судьбы сказывались. А может, и некоторая ревность иногда присутствовала. Не мне судить. При всем при том был он человеком исключительно благородным, к тому же и смелым, решительным, и если уж надо было, говорил и в открытую собеседнику все, что о нем думает, плохое ли, хорошее ли.

Те слова, которые я сам когда-то, глаза в глаза, услышал от Арсения Александровича, дороги мне и поныне, да и всегда будут очень дороги.

Еще в первую встречу, зимой шестьдесят пятого, наверное, в декабре уже, когда, промерзнув по дороге в своем демисезонном старом пальто, пришел я к нему, в писательский дом неподалеку от метро «Аэропорт», и позвонил, и он открыл мне дверь, улыбаясь и протягивая мне навстречу свою крепкую, сухую руку, и мы прошли в его кабинет, и были там вдвоем, и говорили, о многом тогда говорили, потому что интересовало его абсолютно все, и оказалось, что я, можно сказать, его земляк, потому что сам он родом из Кировограда, бывшего Елисаветграда, а я вырос в Кривом Роге, и это совсем рядом, и оба мы люди степные, чувствуем и понимаем наши степи, их великое пространство, и что-то есть все же схожее в наших судьбах, вот и он совсем молоденьким приехал в Москву, и бывало здесь ему тяжело, а родина, степная родина, родина души, поддерживала, спасала его всегда, и мы, люди степей, люди Русской Степи, протянувшейся от Дуная до Заволжья, несколько иные, нежели эти, городские, особенно московские, люди лесных широт, которым неведомы подлинные просторы, и хорошо, что я пришел к нему, на него повеяло молодостью, а то, что у меня всякие неувязки в жизни — это пустяки, это все утрясется, это еще не трагедия, выход есть, и он сам непременно поучаствует, поможет, — и некоторым другим, заведомо хорошим, людям, из числа его знакомых, из тех, кто имеют вес или влияние в писательской среде, скажет, и они подсобят, и все обойдется, все будет хорошо, главное — писать, писать стихи, жить поэзией, — и я читал ему, и он слушал, сидя за своим письменным столом, вначале откинувшись назад, на спинку стула, а потом внезапно весь подавшись вперед, и скорбное, резное, прекрасное лицо его преобразилось, ранее бледное — порозовело, заиграло огнем, и глаза, печальные, усталые, раскрылись, и в них заиграл, засверкал этот молодой, живучий огонь, и он был весь — ринувшийся навстречу звучанию моих стихов слух, весь был — зрение, острое, пронзительно-точное, и действительно глаза его были как «два незримых алмазных копыя», и копыя эти были еще и световыми лучами, а стихи мои звучали, и Тарковский, человек пожилой, тогда ему было под шестьдесят, молодел у меня на глазах, и степная порода звенела в нем тайной струной, и какая-то столь идущая ему, столь естественная стать проявилась вдруг во всей фигуре его, ранее несколько сутулящейся, как бы вжатой внутрь, он распрямился, распрямились, расширились плечи, расправилась, задышала свободней широкая грудь воина, и руки, его сухие, крепкие кисти, оказались едва ли не крыльями, как-то запели, ожили, чувствуя ритм, и голову он закинул высоко, будто смотрел там, где-то в степях наших,

в чистое небо, и слышал, не здесь, от меня, а там, в вышине, мелодию, которая растрогала его и которой он поверил, — и потом я услышал впервые те слова от него, что запомнил надолго, что с тех пор со мною всегда, — о присутствии тайны в стихах моих, и о том, что в них свет ощутим в каждом звуке, и еще, о другом, откровенно, прямую, всерьез, не скрывая ни радости, ни изумленья, ни грусти — ну хотя бы о том, что судьба моя не из простых, что придется мне впредь натерпеться, и выжить, и встать из безумия общего, став наконец-то собою — и сказать, все сказать, там, в грядущем, к чему был я призван, поскольку весь дар мой — от Бога.

Долго можно говорить об этом человеке.

Свою любовь к его стихам, которая началась еще в шестьдесят втором году, в Кривом Роге, когда я, шестнадцатилетний парень, уже вовсю живущий поэзией и не мыслящий себя без нее, прочитал его книгу «Перед снегом», я оберегал от всяческих вторжений извне, от тогдашнего, разнузданного богемного отношения некоторых моих знакомых к подлинной классике, я твердил его строгие, горькие, просветленные стихи в годы скитаний, я читаю и перечитываю их и теперь, в девяностых годах, потому что без них — нельзя.

Тарковский происходил из древнего, царского рода кумыкских шамхалов. Старейшины дагестанского селения Тарки приходили к нему на поклон, когда в тридцатых годах он побывал там с группой переводчиков, — и это насмерть перепугало начальство, — и писательскую группу немедленно возвратили в Москву. В Тарках находятся родовые могилы предков поэта. А теперь, в девяностых, в Дагестане проходят дни обоих Тарковских — отца и сына. Кровь кумыков, называвшихся ранее половцами, народом, родственным казакам, — а возможно, когда-то это был единый народ, и только позже религии и изменившийся язык разъединили их, — текла в жилах поэта, и это была степная кровь, и наряду с другими, позднейшими, тоже струившимися в его жилах, придавала она особый строй и особый характер его поэзии.

Наверное, как рыбак рыбака видит издалека, так и степняк степняка видит издалека.

То родственное, что я ощущаю в поэзии Тарковского, то кровное, самое главное, определяющее — совершенно все, дающее тон всему творчеству и поведению человека в жизни, то самое глубокое, сокровенное, что уловить может только близкая душа, — судя по всему, сразу почуял и принял в свою душу он и в моих стихах. Та важнейшая, духовная связь, ее несомненное наличие, ее воздействие, ее свечение, судя по всему, решили все в его отношении ко мне.

Я стеснялся его лишний раз беспокоить. Мне и в голову не приходило напрашиваться к нему в гости — или, чего доброго, просить его, как это вовсю делали другие, помочь мне с публикацией моих стихов, да и просто — обращаться за помощью. Боже упаси! Нет, он был для меня — вот таким, каков он есть, самим собою, Тарковским, и этого для меня было достаточно. Изредка мы виделись. И все эти встречи я прекрасно помню. Он, как я теперь понимаю, тоже, еще в былые годы, оценил и внутренне одобрил такое мое, независимое, поведение. О моем серьезнейшем отношении к его поэзии он не только догадывался, но и прекрасно знал. Постарались ему доложить об этом и даже преуспели в этом те, другие, из литературной и околосредовой шатии-братии, которых хлебом не корми, а дай лишний раз передать кому-то, что именно и когда кто-то о нем сказал. Вот уж действительно — публика! Ну, Бог им судья.

Тарковский некоторое время находился если не в гуще литературной жизни, то, во всяком случае, в гуще тех самых молодых и не очень молодых, пишущих стихи людей, для которых были созданы специальные, возглавляемые известными мастерами секции. Для этих секций выделили помещения в ЦДЛ — Центральном Доме литераторов, или гадючнике, как все мы его называли. Вначале был объявлен жесточайший конкурс. Молодые пииты боролись за место под солнцем. Они пускались во все

тяжкие, шли на какие-то непонятные сделки с кем-то, интриговали, сплетничали, выслуживались — и лезли, лезли, лезли туда, поближе к литературе, к начальству, к нужным людям, к официозу, ибо там — им светит, там — глядишь, и печатать начнут, и книжка выйдет, и в Союз писателей примут, там — будущее для них. Они лезли — и пролезали. Было их как собак нерезаных.

Меня приняли сразу, в первую очередь, без всякого конкурса, как выдающееся молодое дарование, да еще и смогиста, и при этом некоторые цэдээловские деятели весьма охотно именовали меня самородком. Ну, что скажешь? Побывал же я на этих самых секциях всего несколько раз, через силу, потому что уж больно характерной публика там была. От нее так и разило угодливой толпой. Некоторые способные ребята там все же занимались, но уж очень мало их было, да и затерли их потом, довольно скоро, на ходу набирающиеся ума-разума для официального своего существования, нахальные, беспринципные горлопаны и пронирыливые тихони. Грустное было зрелище. Я как увидел это, сразу все понял. Нет, это не для меня.

Но к Тарковскому — чтобы его самого увидеть — пришел.

Помню, схватили меня прямо в коридоре эти самые околослитературные нахалы, под белы рученьки потащили, ввели в комнату, где все они кучковались, а там — Арсений Александрович. Ну, это совсем другое дело. С меня сразу все раздражение слетело. Я буквально ожил.

Поэт. Сидит — один, посреди комнаты, возле стола, на каком-то нелепом, скрипучем стуле. Палка в руках. Негнушаяся нога, вернее — протез, который всегда его смущал, заставлял даже страдать. Другая нога, в тяжелом ботинке, крепко стоит на полу, упирается в пол, всю тяжесть тела в него вдавливая. Руки. Сухие, жилистые, степные. Прямая спина. Стать. Голову то наклоняет немного вперед, словно набычившись, то легко и молодо откидывает назад, от чего косое крыло зачесанных вправо, сидящих, но еще не полностью седых прямых волос ложится на высокий, нет, очень высокий, открытый чистый лоб, а потом еще движение головы — и крыло возвращается обратно. Фигура — соединение птицы и всадника. Изломанные, густые, говорящие о породе брови. Мешки под глазами. Морщины, складки на ясном лице. Глаза — вовнутрь глядящие, обладающие не только внешним, но и внутренним зрением. Иначе таких стихов не было бы. Губы, сжатые плотно, сухие. Упрямый подбородок. Изваянная из музыки, из мысли, точеная, очень пропорциональная по отношению к торсу, очень характерная голова. Состояние: грусть.

А вокруг — каре: с четырех сторон, окружая, взирая, переглядываясь, шушукаясь, пофыркивая, похрюкивая, помалкивая, со своими портфелями, папками со стихами, со своими проблемами, с написанным на лбу у каждого желанием: печататься! хочу печататься! во что бы то ни стало! любой ценой! — разномастное, разнокалиберное кодро оглоедов, шушера в основном, за редчайшим исключением, «будущее советской литературы».

Втащили меня. Отпустили. Уселись по местам, ждут чего-то. Я — тоже в центре комнаты. Стою. Молчу. На меня смотрят — все оглоеды, скопом. Тоже молчат.

Передо мной — только Тарковский. Видит меня. Светлеет. Опять вижу: происходит в нем преображение. Всего его существа. Вдохновение в нем, закипающий в жилах огонь. Молодеет. Свежеет. Состояние: страсть.

Глаза навстречу мне вспыхивают. Руку мне протягивает. Улыбается — своей улыбкой, таких больше не припомню. Пожимает мне руку, привстав. Смотрит на меня в упор: степняк степняка...

И — крылатый жест сильной, взлетающей кистью. И — глуховатый голос. Искренние слова:

— Здравствуйте, Володя! Рад вас видеть.

Я, тоже искренне:

— Здравствуйте, Арсений Александрович! И я рад видеть вас.

И — сразу, без паузы, в новом порыве, взлет кисти-крыла:

— Почитайте стихи!

Я, без обиняков, тоже — сразу:

— Вам, Арсений Александрович?

Он — глаза, брови, руки, губы:

— Да!

Надо читать.

Стою посредине комнаты, напротив него. Читаю. Читаю — и забываю об окружающих нас оглоездах, и опять словно заново пишу, сызнава переживаю стихи свои, закрыв глаза, голову закинув, — именно так меня Артур Владимирович Фонвизин в конце мая шестьдесят пятого года и написал, сделал эту акварель свою, первую после перерыва, после сложнейшей глазной операции, вернувшей ему зрение, и сказал: «Вот, Володя, я написал вас — поэтом!» — читаю — как пою, читаю — как летаю, нахожусь, чувствую это, в состоянии транса, вижу то, что читаю — внутренним зрением, слышу — голос, это мой голос, он меня и ведет, он и звучит, читаю — и, приоткрывая глаза, вижу: Тарковский слушает, и не только слушает, он — все слышит, слышит — видит, слышит — понимает, ему это — дано, он чувствует — связь, он — на моих частотах, на моей волне, он — единственный здесь, кто — слышит, кто — понимает, а остальные — нет их, остальных, есть — он, Тарковский, и я перед ним — читаю. Пою. Песнь мою он слышит — вот что замечательно. Читаю — не помню уж, сколько времени. Заканчиваю. В комнате — тишина. Потом — гул. Их — не слышу, не вижу. Смотрю на Тарковского. Глаза. Все ясно. Жизнь и песнь.

Для литературных оглоедов был я в те годы одновременно и притягательной фигурой, и белой вороной. Белой вороной — потому что никогда не смешивался с ними, не якался, наоборот, сторонился, брезговал, был другом своих друзей, был всегда самим собой, всюду — сам по себе. Притягательной фигурой был я для них оттого, что молодая слава тащилась за мною сама, где бы я ни был, где бы ни появлялся на людях. Слава эта оттягивала мне плечи, как разбухший от влаги, изрядно вымокший под проливным дождем плащ. Но она была, ее наличие было несомненным, вот это и притягивало ко мне всяких любопытствующих субъектов, группами и поврозь.

Помню, как они, в тех же шестидесятых, предварительно посмаковав эту новость в своих рядах, по очереди, один за другим, этак с подъемом, с пафосом, преподнося это как сенсацию номер один, торопясь преподнести это, как на блюдецке, мне докладывали:

— Арсений Александрович Тарковский давно уже всем говорит, что у Володи Алейникова в стихах каждая строчка гениальная!

Ну, коли так, то — знал, что говорил.

* * *

Две Натальи — Горбаневская, стихи которой так я любил в молодости, да и теперь, в зрелых годах своих, искренне их люблю, и Светлова, еще не ставшая Солженицыной, — были в шестидесятых очень со мной дружны.

Обе подруги, Натальи — Горбаневская и Светлова — в меру своих возможностей, по тем временам немалых, всячески, дружно способствовали росту моей известности.

Они охотно знакомили меня со своими друзьями и просто с людьми хорошими. Встречи, всегда интересные, шли сплошной чередой.

Да и сам я обычно в долгу перед ними не оставался — и знакомил их с теми людьми, которых знал я тогда.

Общение постоянное, которое, как ни пытайся, ничем никогда не заменишь, было в шестидесятых необходимостью жизненной, такой же нужной и важной, как воздух или вода.

Все мы жили в тоталитарном, как сейчас любят это подчеркивать, все сойдет, мол, и все сгодится, и зачем церемониться с этим, если ясно и так, что к чему, и зачем, и почему, государстве.

Да, так. Но внутри вот этого пресловутого, распроклятого тоталитаризма кипела полноценная, светлая жизнь.

Это была другая, вовсе не государственная, подспудная, не испоганенная казенщиной, официальной, если хотите — свободная, так я считаю, жизнь.

Наша жизнь — вопреки бесчасью.

Победившая зло, по счастью.

Наша собственная, родная, дорогая навеки жизнь.

В ней, полнокровной, подлинной, насыщенной до предела событиями различными, нашей, творческой, жизни, литература была — нашей, искусство — нашим.

Теми, которые мы сами — тогда — создавали.

Таковыми, какими их мы сами — всегда — создавали.

Со всеми их, оптом, достоинствами и, бывало и так, недостатками.

С их открытиями и прозрениями.

С их судьбою, общей для всех.

И с их судьбами, разветвленными, но зато — от единого, общего, в почву вросшего, к небу вознесшего стебель свой и цветы свои, корня.

В годы прежние наше общение было в чем-то сродни причащению.

Или, может быть, даже крещению.

Потом уже было — прощание.

И — для всех ли, не знаю, — прощение.

У меня вот сейчас — возвращение.

Неизбежное. Вроде бы — вспять.

А на самом-то деле — как знать?

Завиток спирали опять повернется — и, может, окажешься не в былом, а в грядущем. Все ведь может быть у нас. И бывает, мне поверьте. Не столь уж и редко.

На опыте собственном знаю: бывает. С одним лишь условием: если все, чем ты жив, — от Бога.

Если судьба твоя, горькая, пусть и так, но зато и прекрасная, горним пронизана светом.

Подруги мои, Натальи, Горбаневская и Светлова, решили меня познакомить с интереснейшим человеком, легендарным поэтом Аркадием Акимовичем Штейнбергом.

В те годы он, бывший зэк, переводчик серьезный, известный, но в отечестве не издаваемый долго, многие годы, поэт, а еще и отличный художник, а еще и впрямь колоритнейший человек, уникальный, личность, ничего тут не возразишь, человек, в поступках своих, в особенностях мышления, в самом своем образе жизни, смело скажу — очень крупный, подчеркнуто независимый от писательского начальства и от властей, всегда, где бы ни жил он, в любых, даже самых сложных условиях, возвышающийся над бытом, преображающий все разом вокруг себя, создающий день ото дня, годами, десятилетиями свой собственный мир, наполняющий вокруг себя все абсолютно, да еще и пространство, и время, дорогое, земное, творчеством, изобретатель, по Хлебникову, творец, фантазер, аналитик, реалист трезвейший и все-таки неисправимый

мечтатель, человек созидающий, светлый, живущий здесь, в настоящем, но глядящий уже и в грядущее и шагающий в это грядущее то с усилием, трудно, медленно, а то и стремительно, словно шагами и впрямь семимильными, это уж как получалось, как складывалось по судьбе, и вовсе не от него зачастую это зависело, человек закаленный, привыкший упрямо преодолевать непрерывные, вечные трудности, которых было с избытком на пути его, куда больше, нежели у других, по природе своей — боец, стремящийся побеждать, крепкий, тертый мужик с огромным, уникальным жизненным опытом, да к тому же еще наделенный магнетическим обаянием, неотразимо действующим на сердца нежнейшие женские, да к тому же еще и знающий цену дружбе мужской, и притягивающий к себе настоящих друзей, вообще — хороших, достойных, интересных, ярких людей, создающий — свой круг, живущий широко, но не на поверхности пресловутой официальной, а внутри своего круга, своего, хранимого бережно, дорогого, личного, собственного, благодатного, щедрого мира, человек — легенда, и — притча, был он в должной мере когда-то несомненным олицетворением вольнолюбия, свободомыслия, человеческого бесстрашия и служения правде, везде и во всем, неизменной верности призванию своему, был порядочен, артистичен, прям, открыт молодым, благороден, чист душою, сердцем широк, был отзывчив, поэзию знал — как многие, весь был в искусстве, — все любили его — и, любя, уважая его, восхищаясь им, поражаясь его выживаемости, нет, живучести, полнокровию, воле, мужеству, крепости, стойкости, меж своих называли — Акимыч.

Я давно уже знал о нем. Только встретиться с ним — не пришлось еще.

Мог бы, наверное, сам проявить, как делали некоторые знакомые, инициативу.

Но срабатывало мое вечное и совершенно правильное нежелание — людям навязываться. Не в моих это было правилах.

Я считал — и считаю доселе, — что все должно происходить само собою, все складываться должно лишь естественным образом.

Иначе в том, что с тобою происходит, в разумном течении и в естественном, закономерном, без излишеств, чередовании всех событий и разных встреч, в особенном, органичном звучании полифоничной, достаточно сложной музыки человеческой, личной судьбы — так я скажу об этом, — возникают, как из-под земли, появляются элементы досадной мирской торопливости, намеренных корректив, чуть ли не нарочитости, словно этикие, на поверку псевдовольные, условные, незнаю зачем какими-то подозрительно скучными, вымученными, совершенно неубедительными, налипающими словами рябящих в глазах и, хоть тресни, вовсе не запоминающихся, ненужных, лишних, невзрачных, пустых, чужеродных ноток вписанные поверх уже на месте имеющихся, на нотном стане записанных, необходимых знаков, образующих — только верное звучание, образующих — неизменно единое целое, — и прочие, диссонирующие, дающие сбои в гармонии, вызывающие досаду, а нередко и возмущение, фигуристые штуковины, которые лучше всего просто не допускать к себе, в свое бытие.

Судьба сама разберется во всем, раз уж ты поэт, и что-то, глядишь, отодвинет от тебя подальше, поскольку так надо, хотя бы на время, а что-то придвинет к тебе, откроет его тебе вовремя, именно в нужный день, в нужный час, тогда, когда надо, не раньше, но и не позже, не больше, но и не меньше.

Судьба — это путь к совершенству, это ведь тоже борьба, гармонии — с дисгармонией, полифонии — с противной примитивщиной легковесной, поверхностной голосовой, зачем-то затверженной партии и простенького, как шорох бумаги, сопровождения, в три аккорда, аккомпанемента.

Судьба — это та магическая, серебряная труба, из феллиниевской «Дороги», та самая, вещая, вечная, которую вновь и вновь подносит к сжатым губам Джельсомина — Джульетта Мазина, чтобы услышать — зов, дабы почуять — путь.

Судьба — это прядь со лба, в молодости — рыжеватая, упругая, чуть волнистая, в зрелости — сохранившая упрямство свое, но уже сединою снежной затронутая, ковыльная, серебристая, — и здесь, ввечеру, в Киммерии, где стоишь на ветру, сощуришь, и вглядываешься в пространство, путешествуя сквозь времена, взлетающая, незаметно и неизменно, поскольку так надо, в звездное небо, туда, где совсем высоко, и так далеко, и вроде бы рядом, близко, протянут в безграничном, извечном, седом наваждении мироздания, во вселенском дивном видении, в ожидании чуда, наискось и вдоль, назад и вперед, расплеснут влево и вправо, и в глубь, совсем не колодезную, не речную и не морскую, но — ту, что свыше, ту самую, ту, что есть искони — высь и весть, и натянут, настроен свыше мириадами чутких струн, и незримых нитей, и связей, неустанно звучащих, поющих, и вытянут, весь, устремлен, как бессчетные взгляды, людские ли, ангельские ли, любые, из былого в грядущее, сквозь настоящее, в доли секунды уже былым становящееся, мерцающий вечным светом, наполненный силой нетленной, всей мощью и радостью мира, с его чередой превращений, сцеплениями, узлами, на память ли, для надежности ли, скрепляющими, связующими все разом в единое целое, в живую всеобщую ткань, в сплошное, во веки веков, единство и таинство, празднество, творчество, действие, сияющий, плещущий кровью живою, и явью, и правью, торжественный в великолепии своем и прекрасный в своей золотой простоте, Млечный Путь — или, как говорят в наших древних степях, и по всем побережьям исконных морей наших, да и по всем берегам наших рек, отражающих в водах своих наши лица и светлое, неизъяснимо родное лицо всей истории нашей древнейшей, Чумацкий Шлях, — и на этом пути ты волен быть самым собою — всегда.

И судьбе твоей нет предела на вселенском вечном пути — ведь живую душу вселяет неустанно, светло и осознанно в животворных трудах своих, созидательных и целительных, и спасительных для бытия, где любовь расцвела твоя, в мирозданье живое Господь, и по воле Творца мы живы, и поддержаны, певчие, творчеством, и ведомы — звучащим словом, и хранимы — небесным светом, и едины — вселенским родством.

Надо сказать, что Штейнберг тоже знал обо мне.

От друга своей довоенной молодости, Арсения Тарковского, человека, державшего в стороне от литературной жизни, независимого в суждениях, сдержанного в общении с поэтами молодыми, чутьем отменным, вернейшим на поэзию наделенного, скупого на похвалы, внимательного и отзывчивого отшельника благородного, почти земляка моего, с которым был я знаком и который, как все уже знали в Москве, стихи мои ранние всегда высоко ценил.

От бесчисленных общих знакомых, разносивших в ту давнюю пору молву обо мне по Москве, да и не только по ней.

От самых разных людей, литераторов или художников, музыкантов или же просто любителей и ценителей всего, что в нашей кипучей, подпольной, неофициальной среде отличалось от прочего богемного пестрого творчества, выделялось своей непохожестью на другое и новизной.

И так далее. Вестников было в годы прежние — хоть отбавляй.

Да к тому же еще и громкая, взбудоражившая не только Москву, но и всю страну, а в придачу и за границу история с нашумевшим неслыханным образом СМОГом возымела, конечно же, действие.

Уж о смогистах-то — все поголовно, в те годы, знали.

Ну а кто — говорю для историков новейшей литературы, дабы их просветить, поку-да есть у них возможность спросить у меня о том, что действительно было в эпоху ми-нувшую, — главными смогистами? Мы с Губановым. СМОГ — это я и Губанов. А все остальные — потом.

Знать-то Штейнберг знал обо мне, но, думаю, как и я сам, тоже хотел, чтобы все сло-жилась разумно и просто, как-то само собою.

Это предположение мое оказалось верным.

Позже Аркадий Акимович мне об этом так и сказал.

Словом, обе подруги, Натальи, Горбаневская и Светлова, да еще и Ляля Островская, объединившись, твердо решили нас познакомиться.

Было это весною, все в том же обильном на встречи и дружбы, возникавшие вслед за встречами, иногда, шестьдесят шестом.

Встречу назначили там, где лучше всего, — у Ляли, все там же, в ее деревянном ста-ром доме-скворечнике, где любили мы все тогда вечерами порой собираться.

Почему? Потому что Ляля была бесконечно добра и неизменно приветлива с нами, своими гостями.

Потому что в ее обиталище было всем хорошо. Атмосфера была там особая. Аура, как обычно теперь говорят.

И еще потому, что сердечным теплом и душевным светом наделена была сама хо-зяйка, худющая, симпатичная, рыжая Ляля, настолько щедро, действительно, что хва-тало его, полагаю, на добрую половину тогдашней московской богемы, а уж для хоро-ших, избранных, любимых друзей — и подавно.

Потому что не где-нибудь, а именно здесь, у Ляли, предложили прекрасные дамы нам увидеться и познакомиться наконец, Аркадий Акимович согласился весьма охотно. Здесь, у нее, — всем было радостно и спокойно.

Здесь — все чувствовали себя уверенно и свободно.

Здесь, наконец, с гарантией, все были — только свои.

По той же причине, уже уставший тогда от всех этих обязательных, ритуальных, не-прерывных чтений стихов, сознательно избегавший неприятного для меня, опасного общества некоторых, и даже многих, смогистов, и особенно тех, которые почему-то себя таковыми считали и шумно трезвонили от этом на всех углах, а на деле-то ров-ным счетом никакого к содружеству нашему отношения не имели, сторонившийся все решительнее всяческой псевдобогемной, расхристанной суеты, все более уходящий в творчество, постоянно пишуший новые книги стихов, одну за другой, то есть, по су-ществу, непрерывно, серьезно работающий, несмотря на то, что по странной для ме-ня, нелепой инерции продолжал я все ж обрастать легендами разнообразными и до-мыслами, в которых было вдосталь всяческой путаницы, а уж слухов невероятных обо мне как об этаким гении молодом, с поведением, ясно, соответствующим и сопут-ствующими приключениями, расплзлось тогда, ходило, разлеталось, дробясь и мно-жась без конца, несусветное множество, и все это оптом, тогда уже, просто страшно мне надоело, хотя понимал я, конечно: что делать, это — Москва, хлебом ее не корми, только дай подольше посплетничать, вволю повосторгаться, избрать для себя, пускай и на время, кумира, героя, — так вот, все по той же причине, что на вечер у Ляли Ос-тровской соберутся только свои, повидаться со Штейнбергом сразу же согласился, ко-нечно, и я.

О чем и было ему напрямую вскорости сказано.

И что ему, из-за неожиданного совпадения наших линий поведения и тогдашних твердых позиций жизненных, заранее, до знакомства нашего, очень понравилось.

О чем, понятное дело, сказано было и мне.

Таковы были прежние нравы и привычки прежние наши — ничего от друзей хороших в нашем славном кругу не скрывать.

Встреча была назначена — и вот она состоялась.

Мы — Штейнберг, почетный, серьезный гость, три Натальи и я — собрались вечером у Ляли.

Произошло знакомство.

И так все естественно получилось, что показалось мне, будто знаком я с Аркадием Акимовичем давным-давно.

Мне полагалось — читать стихи.

Для того, собственно, и собрались.

Штейнберг очень хотел меня послушать.

Мы все сидели за столом, в комнате, той, что побольше.

На столе по традиции — несколько бутылок сухого вина, приготовленная Лялей легкая закуска.

На одном торце стола восседал колоритнейший, ведь и не крупный вовсе, а просто — крепкий, жилистый, но производивший монументальное впечатление Аркадий Акимович.

На другом торце стола — сидел я.

По бокам — расположились дамы.

Начали мы с того, что немного выпили. Причем Акимыч и выпивал-то не банально, а по-особенному, очень по-своему, радостно, артистично, красиво.

Появилось у всех и настроение — слушать стихи.

Пришлось мне читать.

Я читал, как и почти всегда в те годы, не заглядывая в тексты, читал — что в голову придет, совершенно переключившись на звучащую речь, прикрыв глаза и заново каждый раз переживая, будто сызнав его, прямо сейчас, по ходу чтения, сочиняя, каждое стихотворение, разволновавшись, настроившись на звук, незаметно войдя в состояние своеобразного транса, поющего, ритмически насыщенного, завораживающего и подчиняющего себе, всей этой непостижимым образом изливавшейся когда-то из меня, изнутри, из души, из сердца, свободной, светящейся музыке, воспроизвести которую, наверное, уже невозможно, во всяком случае — сложно, вовлекающее в это поющее, шепчущее, бормочущее, кличущее действо, тут же, на месте, мною создаваемое — непонятно как, по чутью, по наитию, на одном бесконечно долгом, широком, глубоком дыхании, — всех окружающих.

Я читал — не помню уж, сколько времени, да и неважно это, но читал, наверное, довольно долго, покуда, выплеснув из себя эту музыку, измученный неминуемым напряжением, внутренним своим сосредоточением, не перестал вдруг читать и не открыл, словно пробудившись, глаза.

Я запомнил невероятную, удивившую меня тишину, стоявшую в комнате.

И запомнил еще — зрительно осязаемое, потому что сам я это увидел, — присутствие здесь, в сжатом четырьмя стенами пространстве, клубящихся, свивающихся, светящихся, постепенно успокаивающихся и становящихся все прозрачнее, все невесомее, прозрачнее, а потом и вовсе редющих, сквозящих, лишь чуть искрящихся, по-

трескивающих, будто бы разрядами электрического тока, видений, очертаний, форм, сгустков, слоев, нитей этой странной, живой ткани, этого созданного мною на протяжении чтения особого поля, — моей звучащей, вот таким образом, выходит, материализовавшейся речи, — уж не знаю, как и выразиться поточнее.

Но я это — сам видел. Да и не только я.

Все молчали. Пока что — молчали.

Я присел на скрипнувший стул, выпил глоток вина, закурил.

И тогда Аркадий Акимович, несколько изумленно глядя на меня из-под очков невероятно широко раскрытыми глазами, заговорил.

— Да, — сказал он, одним глотком опорожнив хлюпнувший стакан вина, тут же закулив и окружив себя клубами дыма. — Да, — сказал он, все более пристально глядя на меня, — почему мы, все мы, не умеем говорить так, как говорят растения, животные, птицы, рыбы, вообще — все живое, вся природа? А вот Володя Алейников, — он, обращаясь к дамам, вытянул обе руки, ладонями вверх, и простер их ко мне, — а вот Володя — умеет так говорить! Он этот язык — знает! Боже ж ты мой! — покачал он из стороны в сторону взлохмаченной головой, — он знает язык природы! Язык естества! — Акимыч выпрямился, поднял вверх обе руки и торжественно, патетически, воскликнул: — Он знает язык бытия!

Дамы внимали Штейнбергу.

Он обратился уже ко мне:

— Володя! Как это? Как это может быть? Получается — это бывает. Это — возможно. Я только что, сам, здесь, лично, я, поверьте, кое-что знающий в жизни, слышал от вас — речь сущего! Вы умеете выразить — единство всего сущего! Вы умеете — самое главное.

Он смотрел на меня в упор — и видно было, что он волнуется.

Слова его поразили меня абсолютно точной формулировкой того, что старался я, в меру сил своих и возможностей, делать в поэзии.

Слова эти — я запомнил.

Они предельно выразительны.

Лучше не скажешь.

Вот оно, знаменитое Акимычево чутье на поэзию.

Конечно, для меня было более чем важно — такое услышать.

Однако молодость, да и смущение, стеснительность, в те годы сказывавшиеся постоянно и теперь никуда от меня не ушедшие, потому что это свойства характера, да еще и вечное, сознательное мое нежелание носиться с собой как с писаной торбой, и добавок чтобы еще и другие носились, и стремление мое не больно-то поддаваться на похвалы, и многое другое, говорящее, полагаю, об отсутствии во мне заносчивости и эгоизма, говорящее также о присутствии здравого смысла, о том, что никогда я не терял голову, что бы обо мне ни говорили, как бы меня ни хвалили, поскольку это — не мое, главное для меня — работа, созидание, творчество, а говорят хорошо — значит, считают так, а мне надо просто работать, и потом, когда-нибудь, все равно разберутся с моими писаниями, а теперь надо просто жить и работать, вот и все, вечная моя присказка, — молодость, повторяю, и смущение, и, конечно же, здравый смысл брали свое, — и я, выслушав Штейнберга и запомнив его слова, постарался как-то исподволь снять общее возбуждение, общее волнение.

Мы заговорили о простом, о житейском.

Впечатление от чтения долго еще, конечно, держалось — это видно было по лицам.

Но такое — тогда — было закономерностью.
 Дамы, слышавшие меня много раз, прекрасно знали об этом.
 Оставалось только принимать это как должное.
 Ну что ж со мною поделаться?
 Так — пишу стихи. Так — читаю стихи.
 Уж такой, какой есть. Алейников.
 И все этим сказано.

Славный получился вечер.
 И хорошо мы поговорили с Акимычем.
 Я видел, что он испытал сильнейшее потрясение.
 Но он и сам был поэт. Отличный поэт.
 И я постарался сказать ему хорошие слова о его стихах.
 О каких? Да о той же, единственной из напечатанного, поэме Штейнберга — в «Тарусских страницах», знаменитом альманахе изданном в Калуге, с помощью Паустовского.
 Я постарался найти точные слова — о высочайшем его реализме.
 Об умении выразить — явь.
 О поразительной собранности, дисциплине его поэзии.
 О верности слову.
 О присутствии духа в строгих, внешне сдержанных, но полных энергии строках.
 О голосе его — всегда различимом, для меня, среди голосов других поэтов.
 О честности перед поэзией.
 О воинском прямо чувстве ответственности за каждое написанное слово.
 О верно взятом и безукоризненно точно выдержанном тоне.
 О том, что, казалось бы, полярная поэзия Штейнберга — близка мне.
 Неистойвой человечностью, которая есть в ней.
 Душой, раскрывающейся тому, кто поймет.
 И, конечно, жизненной, созидательной силой, огромной, которая, выжив, уцелев посреди испытаний, рождает речь и надолго останется — сквозь времена.
 Он слушал меня.
 И я увидел просиявшую радость в его глазах — оттого, что и я его понимаю.

В последующие годы мы, бывало, виделись с Аркадием Акимовичем.
 Не единожды разговаривали. И на людях, и с глазу на глаз.
 Говорил Аркадий Акимович иногда:
 — Поэзия русская — это такая армия, где взводами генералы командуют.
 Он был — прав.
 Общаться со Штейнбергом было всегда интересно.
 И полезно. И важно.
 Здравый человек. Щедрый. Сильный.
 И к тому же — такой талантливый.
 Жизнелюбец. Воитель духа.

Помню, году в семьдесят четвертом, когда он завел себе избу в деревне, когда была у него совсем еще молодая, много младше его, красивая и все понимающая жена, когда вовсю шла его переводческая работа, рассказывал он:

— Побываю в Москве — и не то. Ну все здесь не то. Сразу тянет к себе, в деревню. Наберу провизии, ташу на себе. С электрички сойду, на своей станции, — а там дождь

хлещет. И ничего. Подумаешь, дождь! Провизию — на тачку загружу. Ботинки сниму. Штаны закатаю — и вперед, босиком, по дождю, по грязи, по холоду — к дому. Толкаю тачку с поклажей. Шлепаю по лужам, по колено в воде — и даже не чувствую, даже думать не хочу о том, что вода ледяная, что осень, холодрыга стоит. Мне так идти — интересно, весело! Доберусь домой, растоплю печку, хлопну чекушку водки — и все, хоть бы хны. Никаких болезней. Здоров. У меня в деревне — красота! Приволье. Полная свобода. А еще и река. И лодка есть. И дом. Все поместимся. Приезжайте ко мне, Володя!..

Не приехал. Не довелось.

Так уж вышло. Что делать!

Непростыми, увы, оказались мои семидесятые годы.

Когда бы я ни виделся в Москве со Штейнбергом, всегда в его глазах видел я память о том самом первом вечере, у Ляли, первом и самом важном для обоих нас — так я это понимаю.

Тогда мы сказали друг другу — главное.

А все остальное — уж как-то приложится, образуется, тоже само собою.

Все остальное — давно приложилось, образовалось.

И если что-то и вспомнится, то тяготеет, пусть и яркое, интересное, — к той, самой первой встрече, с ее откровениями, в доме у рыжей Ляли, на Трифоновской, где, рассыпая в вечернем, прохладном, но незябком, сгустившемся в плотную полусферу столличном воздухе свои синие, словно с окалиной, трескучие, мелкими брызгами разлетающиеся искры, звенели на ровном отрезке пути и скрежетали тормозами на поворотах красные трамваи, где волшебный, нарисованный Сашей Харитоновым зверок создавал для гостей и хозяйки уют и покой, а по всей полудремлющей, полубодряющей округе, деревянной и каменной, травянистой, дворовой, песчаной, привокзальной, асфальтовой, на деревьях повсюду распускались пахучие, клейкие почки, и бесшумно ходила вблизи, иногда и взлетая, как тихая птица ночная, поодаль, улыбаясь блаженно, светло и загадочно, чуть отрешенно, быть может, но все же по-дружески, все же по-свойски, весна...

* * *

Здание книги. Дом. Соты пчелиные. Гнезда птичьи. С каким трудом в небе сияют звезды!

Музыка книги. Лад. Полифония. Воля. Все, чему нынче рад. Волны. Частоты. Поле.

Мир. Не ленись, войди! Все — для тебя. Живи в нем. То-то звучит в груди сердце — вселенским гимном.

Свет. Посмотри же — свет. Свет. А за ним — сиянье. Взгляд — из минувших лет. Мыслей и слов слиянье.

Книга. Вечерний звон. Зов на рассвете. Доля. Книга. Блаженный сон. Сгустки любви и боли.

Книга. Список утрат. Перечень обретений. Книга. Волшебный сад. Собирище средостений.

Книга. Ключ. Или — клич. Плач. Или с плеч — обуза? Ноша. Надежда. Спич. Пой вдохновенно, муза!

Книга. Отрада. Луч солнечный. Дух. Горенье. Вера. Мой голос — жгуч. Всем на земле — даренье.

Ночь прошла. Я снова работал. Да и как не работать — сейчас, да и как вообще — не работать мне, который только и делает, год за годом, так много лет, и в былом, отшумевшем столетии, и в столетии нынешнем, новом, что работает да работает!

Я привык — ну куда деваться? — кто мне скажет? — к своим трудам. «Нет бы — с прочими тусоваться, как и все!» — скажет главный сам сверхтусовщик. «Иди тусуйся, — говорю я ему в ответ, — а сюда никогда не суйся, для тебя здесь приюта нет».

Вот с такою ноткою едкой возникает новый напев. Машет вновь шумящую веткой старый тополь. Оторопев от вторжения в души наши, поднимается на балкон плющ. Акации, сказки краше, подступают со всех сторон.

Август. Вот и цикад не слышно. Только горлицы — все кричат. И никто здесь не третий лишний. И людей голоса звучат. В отдалении. Ближе, ближе. Вместе с птицами. В добрый час! Что увижу? И что услышу? Что узнаю? В который раз?

В зеркалах — да и там, в зазеркалье — отражений рои. Движенья отдаленных, смутных теней. Измерений иных пунктиры. Знаки. Всплески других миров. И не нужен ковер-самолет, чтоб туда улететь, откуда возвращения нет, — а может быть, возвращение и возможно. Если знаешь ты, что сказать, как вести себя, что увидеть и запомнить, мимо чего поскорее пройти. Если знаешь. Если помнишь. Запоминай. Во вселенной все абсолютно, все живое — взаимосвязано. Есть — единство всего на свете — помни это, скиталец, — сущего. Сквозь ушко игольное ты, если надо будет, пройдешь. Совершишь все Геракловы подвиги, и поболее даже. Увидишь то, что видеть и впрямь не дано тем, кто слыхом даже не слыхивали, что такое — явь, или правь, или навь. С Ориона свет озарит и тебя. Живи. И — работай. Новые книги — никакие, брат, не вериги. Это — в небо ступени. Высокие. Это — путь твой. Юдольный. Земной. Пусть повеет осень — весной, а зима — вдруг подарит лето. Жизнь — светла. И песня — не спета. Вот и музыка. Ты со мной, чудо. Всюду теперь — звучи. Всюду будут открыты двери. Всюду в мире — забудь потери — музыкальные есть ключи. Волшебство — в порядке вещей. Ну а празднество — за утратой — непременно придет когда-то. Разомкнутся клювы клещей, что сжимали края покрова. Все — не ново? Все — вечно ново. Не кори меня, друг, сурово. Побежден будет царь Кощей. Из яйца мирового вновь пусть родятся миры живые. Все — в охотку. И все — впервые. Все — навек. Вот и вся любовь.

Шелест южной, густой, зеленой, киммерийской, сквозной, узорной, непостижной и непокорной, знойной августовской листвы.

Шелест — легкий, почти бесшумный, иногда, а порою — сильный, нарастающий, изобильный, в небе — с отсветом синевы.

Шелест — вечный, сплошной, беспечный, быстротечный и бесконечный, шелест — лепет, высокий трепет, отзвук памяти и судьбы.

Шелест — прелесть, и шелест — шалость, незапамятность, небывалость, навевающий неизменно возвращение ворожбы.

Шелест — звук. Или — знак. Вокруг — мириады сплетенных рук.

Шелест — миг. Или — мир. В ответ: вот вам сто полновесных лет.

Шелест — магия. Шелест — дом. Вот он, рядом. С твоим трудом.

Шелест — музыка. Шелест — рай. Август. Дел — непочатый край.

Шелест — шепот. И шелест — крик.

Шелест — власть. Ко всему привык.

Шелест — опыт. И шелест — нить.

Шелест — весть. И — за нею: быть!

Покатился клубок — вместе с нитью — дальше, дальше, в пространство, сквозь время.
Нить, крученая и суровая, что связуешь — в моей поэме?
Вот и яблочко покатилося — ах, по блюдечку золотому.
Так скажи ты, что не забылось, — по-хорошему, по-простому.
Вот — былины. И сказки. Были. Мифологии воскрешенье.
Все — кто помнят. Все — кто любили. Бесконечное вопрошенье.
Безответное заклинанье. Безмятежное восхищенье.
Вы откуда, воспоминанья? И — прощанье. И — всепрощенье.

Желтый лист, сорвавшийся с дерева, закружился в прогретом донельзя, раскаленном пышущем жаром, душном, плавленном летнем воздухе, уносимый порывом легкого, налетевшего ненароком, торопливого, мимолетного, ненадежного ветерка вдаль куда-то, но вдруг помедлил, зависая передо мною, как пропеллер, вертясь, потом весь обмяк, потеряв опору, пусть воздушную, пусть — на время, все равно ведь был он в полете, все равно ведь парил — и вот он упал, трепещущий, вниз, на дорожку садовую, рядом с расцветающей алой розой, став невольным, неммым вопросом: что же — дальше? Нужный вопрос. Дальше — осень. Пусть и нескоро. Этот лист — ее знак. Предвестник. Молчаливый — но все же звук. Взгляд ее — сквозь летние дни. Дальше — осень? Но длится лето. Почва щедрая разогрета. И горит моя сигарета. И темно в лиловой тени. И светло — на припеке. Солнце — над Святою горой застыло. С пылу, с жару — так много было самых разных сказано слов. Столько было событий всяких, что теперь их следов двояких не доищешься здесь, в округе, где любой их найти готов. Желтый лист — он ответы знает на вопросы. Не зря летает над землею. И пусть растает, растворится в пространстве пусть. Грусть — со мною. И весть — со мною. Пусть повеет былой весною все далекое — и родное. И — знакомое наизусть.

...Когда я читал твои письма — и повеяло давней осенью — помнишь костры на Гданцевке, за рекой, холодной и сонной, вороха и груды осыпавшейся с окрестных деревьев листвы, собранные, наподобие курганов или холмов, полыхнувшие жарким пламенем, а потом неспешно, торжественно, как-то жертвенно даже горящие, серебристо-сизый, колеблющийся, поднимающийся над землею, стелющийся вдоль улиц, уходящий в туманное небо, высоко, еще выше, дым, — ты идешь, сквозь деревья, к реке, над которой — мосты, целых три, переходишь на южный берег по мосту подвесному, — и вот уже ты в заречном, тихом раю, да, в раю, ни больше ни меньше, потому что в раю этом вырос я, и здесь — моя родина речи, — все мгновенно, как по волшебству, словно в сказке с тяжелым началом и всегда хорошим концом, словно в древней легенде, где тайна до поры до времени дремлет, словно в песне, словно в предании, возвратилось и ожило.

Светло в этом, сердцу милом и душе, осеннем краю — и дымчато в этом дивном краю, вернее — в раю.

Удлиненные контуры стен, заборов, деревьев, фигур. Теней мельтешенье — скользящее, сквозящее — вдоль строений, вдоль улиц и переулков, куда-то на юг, наверное — под ветром северным, веющим вечерами, все чаще и чаще.

Снова движется все, плывет в океане воздушном, качается, растворяется в темноте, вырывается вновь на свет, устремляется в глубь степей, пахнет горькой, сухой полынью, свежей влагой, листвою, слетевшей с исполинских грецких орехов, навевает мысли о прошлом, проясняется в настоящем, незаметно уходит в грядущее, чтобы ждать нас, теперешних, там.

И никогда никому не удастся, сколько ни будут пытаться, наивные люди, заключить этот мир, как холст, в условную даже рамку, — он вырвется из нее сразу же, неза-

медлительно, разрастется, раздвинется тут же, распахнется весь — и для зрения, и для слуха, и для того, чтоб надолго остаться в памяти, чтоб остаться в ней — навсегда.

Где мои скрипки, легчайшие, как пушинки или снежинки, на которых сыграть я попробую изумительные мелодии?

Где мои окна, которые исчезают, не приближаясь к тем, кто смотрит на них с подозрением, подружившись невольно со злом?

Где вода моих древних рек, что текут с достоинством редкостным вдоль холмов и низин, вдоль скал, нависающих круто над ними?

Где священность моих берегов, средоточий жилья людского, сокровенного понимания жизни, света, уюта, тепла?

Где же наши ночные свечи, освещающие и грустные наши лица, и знаки зыбкие драгоценного бытия?

Пусть звучит блаженная музыка — сквозь вселенскую тишину, сквозь видений осенних сонмы, сквозь тревоги — как можно дольше.

А потом — пускай скрипачи инструменты свои волшебные по привычке кладут в футляры и с трудом закрывают их.

Пусть идут они молча, сутулясь, перешагивая через лужи, к остановке трамвая, чтобы уезжать на нем навсегда.

Пусть летят над ними осенние — словно эхо — желтые, алые, невесомые, ветром гонимые вдоль дороги, окрестные листья.

Я приду из парка заречного, где остались отзвуки музыки, меж деревьев, сплошь облетевших, до зимы, — и вернусь домой.

И все — как под увеличительным сильным стеклом: то расплывчатей, то четче уже, сфокусированней — детали, приметы, сны.

И в мире моем — светло. Но радость в нем дружит с грустью.

Где наша музыка, грусть моя, музыка по вечерам, и книги, радость моя, и зыбкие, длинные тени со всех четырех сторон, сквозь углы, закутки, пробелы в горькой памяти, сквозь просветы в ней же, сквозь силуэты смутные позади, сквозь локти и плечи незнакомых людей и друзей?

Что такое — наша, родная, не чужая ведь сторона, и зачем она кем-то создана, и кто же мы, кто же такие, в конце-то концов, когда веет ветер с юга, вечерний и ночной, сводящий с ума, заставляющий встать и идти, неизвестно куда, все дальше, сквозь пространство и время, вперед?

Нет ни солнца, ни туч, ни птиц позади, но едва лишь ты, хоть на миг, оглянуться сумеешь — есть и солнце, и тучи, и птицы, и листва, уводящая в глубь этой местности, где прозреваешь вместе с прочими, где проживешь, уцелеешь, станешь дышать глубже, проще, спокойней, свободней, сохраняемый силой Господней, чтобы стали слова благородней, чтоб о прошлом себя вопрошать.

Где моя музыка, личная, сокровенная, без литавр, словно задача решенная, тихая, не оглушенная бешеным, будто с цепи сорвавшимся, барабаном?

Где мои гитары и совы, раскрывающие глаза удивленно, когда зовешь их, молчаливых, по именам, балаганы пустые, закрытые до утра, карусель наша старая и знакомая, сиротливая, среди сиреновой мглы, скамейка?

Нас увезут куда-то не музейные, старомодные, симпатичные с детства «кукушки», а истошно кричащие, в непогодь уносящиеся электрички, и при встрече там, впереди, вместо «здравствуй» кто-нибудь скажет, ни с того ни с сего, «прощай».

Мы умеем и не умеем жить, как все, но все мы стареем, и старят нас — возвращения, и просят у нас — прощения.

Обещаниям — проще, они забываются иногда.

А прощаниям — горше, они остаются уже навсегда.

Прилетят к нам голуби мертвые. Вслед за ними — живые голуби.

Прошумят нам ветвями безлиственные, одинокие тополя.

Гитары без струн сыграют нам — вслед за маршем Наполеона — «Болеро» Равеля, чтоб кровь закипела в жилах застывших.

Сigaretы наши, сухие и измятые, затвердеют, в семь цветов окрасятся радужных, словно палочки восковые.

Башмаки наши сотню раз обязательно будут изношены.

Но где, и когда, и скоро ли будет встреча? Когда же мы все, да и где сумеем увидеться? И когда же — не будет страданий?

Финикийцы правят своими кораблями в морях неведомых. Паруса их остроугольные задевают порой за прошлое.

Мы возьмем большие, тугие, боевые луки — и выпустим стрелы с черными, гибкими перьями. Никогда не убьют они наших верных подруг и жен. Поразят они — только зло.

Когда они в прошлом горели, осенние наши костры, и горят ли они в настоящем, чтоб гореть и потом, в грядущем?

Надолго ли — наше время? И долго ли нам, сегодняшним, брошенным, как из пращи, в эту странную, право, действительность, где навыворот все, кувыркoм, лететь куда-то над крышами окрестных строений, над буднями и головами прохожих?

Где наши простые песенки, широкие, прочные весла, круги гончарные, празднества и все на свете ремесла?

Разве нет у нас родины? Есть.

Здесь она. Это — родина речи.

Степь. Для меча? Или плуга?

Есть у нас ветер с юга.

...Что за прелесть и что за чудо, в сердце вхожее отовсюду, были те, далекие, темные, непостижные и огромные, осенние или зимние, с тишиной, с приятною взаимною, весенние или же летние, с их таинственностью безответною, с глубиною их, с высотой, с ощущением тепла и добра, с чередою их непростою, стародавние вечера.

Были в доме нашем тогда две настольных лампы: одна — мраморная сова, с глазами зелеными, круглыми, а другая — традиционная, с колпаком широким, зеленым, симпатичная, старая лампа.

Письменный крепкий стол сделал то ли еще до войны, то ли сразу же после войны, по заказу отца моего и по дружбе, знакомый плотник. Вишневого цвета стол, изрезанный мною ножиком. В нем — две тумбочки, с дверцами, с полками, слева — тумбочка, справа — тумбочка, пустота в середине — для ног, наверху, под широкой столешницей, — выдвижные длинные ящики, целых три. Мой был — средний ящик.

Окно в моей южной комнате выходило во двор к соседям — там шла совершенно другая, непонятная мне, соседская, довольно скучная жизнь, там белела стена сарая и лаяла, как заведенная, на цепи длиннющей сидящая, тоскующая по свободе, столь желанной, большая собака.

На столе отец расстилал лист бумаги, форматом с ватманский, иногда бумагу придавливал прямоугольником толстого, отражавшего свет из окна, свет настольной лампы, лицо мое, превращавшегося мгновенно, словно в сказке, в тусклое зеркало, поначалу холодного, скользкого, а потом согретого лампой и дыханьем моим стекла.

Я исписывал, изрисовывал лист бумаги. Отец убирал его, расстилал аккуратно новый лист, с одной стороны — цветной, а с другой — сероватый или желтоватый, шероховатый и какой-то пористый. Помню фиолетовые, зеленые, цвета спелой редиски, синие, красноватые, голубые, как весеннее небо, листья.

Я сидел за столом, рисовал или что-то писал — и глаз отбирал, по чутью, цвета, ожидавшие воплощения в речи: мягкую белизну потолка и стен, желтизну, под зеленым над ней колпаком, электрической яркой лампочки, законную зелень листвы, лиловые всплески теней по углам, коричневый пол, синеву приходящего вечера, постепенно переходящую в темноту, в которой угадывались виноградные лозы, деревья, огоньки в приоткрытых окнах, очертания созвездий в небе, все приметы послевоенной жизни, скромной, провинциальной, но и щедрой, неповторимой, дорогой, прекрасной, дарованной всем вокруг, благодатной, моей.

За стеною то затихали, то опять разрастались, да так, что округа буквально звенела от сплошного, вселенского звона, вдохновенные песни сверчков.

Мне никогда потом не было так хорошо на душе, как в эти далекие, незабвенные вечера.

Брат спал на своей кровати, после очередного скандала, из-за невыполненного, как нередко бывало, домашнего, довольно простого задания. Отец и мама — в соседней комнате разговаривали, бабушка — где-то рядом была, — позднее, когда появился у нас телевизор, они все вместе смотрели различные передачи.

Ну а я — то черкал бумагу, в задумчивости, просто так, то рисовал все, что в голову приходило, свои фантазии тогдашние, благо их было тогда предостаточно, с избытком даже, скажу я сейчас, то писал запоем, весь отдаваясь течению, движению речи, наивной, но зато, безусловно, искренней, труду, назначение которого я не очень-то понимал, но чувствовал, что писать — это значит всегда трудиться, быть упорным, осуществлять хоть частицу своих, как правило, максималистских замыслов, которые возникали как-то просто, легко, непрерывно, чередую, один за другим, в голове моей, — в этом роении разрастающемся, звучащем непривычною поначалу, но потом уже узнаваемой, ожидаемой, радостной музыкой, возникали уже и видения ненаписанных мною, пока что, но реальных, в будущем, книг.

Я думал о море — и видел, сразу же видел его, внутренним зрением, слышал рокот его и гул. Думал о листьях — и листья шелестели здесь, за окном, говоря о том, что они ждут, когда я о них напишу.

Если это происходило летом, знойным, южным, степным, — ничего не стоило тут же распахнуть обе створки окна и дожидаться вечера, чтобы мотыльки прилетали в комнату и кружились вокруг настольной, их манящей, горячей лампы.

Если это происходило нашей, светлой и теплой, осенью — ничего не стоило молча лбом прижаться к стеклу оконному — и слушать долго, часами, ее печальную музыку, сквозь струи дождя на стекле, сквозь мокрые кроны деревьев окрестных, сквозь ветер, гудящий протяжно, сквозь явь, которую надо было мне постигать.

Белый сарай за окном, на дворе соседском, был южным с виду. Окно выходило, как уже говорил я, на юг. Кровля была у сарая — плоская, крымского типа. За сараем росла высоченная шелковица. Рядом с ней росли высокие вишни. В стороне от них рос виноград. Словом, южный вполне пейзаж. Украинский. Почти что крымский. Было этого мне достаточно, чтобы сразу себя представить где-нибудь на юге, в Крыму.

Бродил и ворчал соседский, лохматый, нечесаный пес. На это ворчание тут же откликались другие собаки окрестные. Проезжала иногда машина по улице, грузовая. И все опять затихало, впадало в дремоту. А потом пробуждалось внезапно от какого-то нового звука, растревожившего заречный, весь в садах фруктовых, ленивый, тихий рай и его покой.

Летели по ветру листья, кружились, падали вниз, на землю, на чернозем, на грядки и на траву, зеленеющую на желтом, багряном, пестреющем фоне деревьев, на фоне лилового, туманного, влажного неба, и птицы высокими стаями улетаели снова на юг.

Я рос и грустил. Я исчеркивал бумагу или, поддавшись настроению, много писал, покуда не надоедало, и я, уставший, бросал тексты свои тогдашние где-то на середине, чтобы завтра — начать другое, что казалось мне интереснее предыдущего, — не хотелось мне заканчивать то, что было слишком ясным уже для меня, лучше — новое написать.

Все четыре времени года проходили передо мною, друг за другом. И звезды в небе так сияли, и со стороны Черногорки, холма крутого, нависавшего над рекой глыбой смутной глухого урочища, пели орды лягушек, и пели соловьи, и ночные птицы пролетали так низко, что тут же разглядеть их получше хотелось, но куда там, они исчезали в темноте, а на смену им появлялись летучие мыши, и лисицы степные тихонько пробирались в чьи-то курятники, и, почуяв их приближение, заливались лаем собаки, томно пахло ночной фиалкой и жасмином, уже расцветали розы, полные влагой ночной, мир безбрежный был рядом со мной.

У виска трепетала, дрожала на весу прилетевшая бабочка, словно вестница лета. Осенью — приходилось ее вспоминать.

Перед моими глазами был круг света — и я понимал уже, насколько сильнее он и разумней всяких углов. Видел в нем я — вращенье, круженье, уходящее далеко, высоко, в глубины вселенной.

На улице — пацаны свистели, брехали псы, болтали о чем-то соседки. Это было — не для меня.

Фонари, сквозь листву горящие, — были сферами. Я заключал все, что видел, — в сферы. И мысленно — проникал я внутрь этих сфер. Время — круг. Это было ясно. Коло. Круг. Для жизни. Среда. И углы не хотел я вписывать в этот круг. Я сидел за столом, в очевидном прямоугольнике дома, комнаты, — и создавал, каждый — в виде круга, миры свои. Рисовал на листах бумаги — круг. Меня привлекали — сферы. И еще рисовал — корабли, замки, лица прекрасных женщин, тех, что встречу я позже, потом.

Лет в пятнадцать я полюбил книги Грина. И эта любовь почему-то была прочнейшим и таинственным образом связана с небывалой, смертной тоской. Почему? Наверное, чувствовал я тогда: никакой не романтик Грин, а очень серьезный мистик.

Помню круговращение дождливого октября и ноябрь, шагнувший навстречу с неожиданными новостями. Но какими? Об этом лучше промолчать. Они — не для всех. Это — личное. Все осталось — в речи, в книгах моих, никуда от меня не девалось. Живет.

А пока что — я жил и дышал, как и все, казалось бы, вроде бы примирившись с тем, что нельзя выделяться, но и не так, как другие вокруг, а по-своему, ощущая отмеченность некую и стараясь ее сберечь от чужих разговоров и глаз.

Возвращался из школы по шпалам, забываясь и даже не глядя, весь в мечтах своих, по сторонам. Во мне роились бесчисленные, лишь мне доступные образы. Я слушал дивную музыку, доносящуюся ко мне с небесных высот, и все время те фрагменты ее, что успел, что сумел я запомнить все-таки на пути, про себя напевал.

И дома, согревшись, если приходил я с холода, или же отдышавшись, если погода довольно теплой была, — я что-то вновь создавал. Писал. Чего только я не писал! Всего и не вспомнишь. Фантастику и приключения, с сюжетами, лихо закрученными. Что-то из жизни школьной. Из детства. Да и из отрочества. Повести. И рассказы. Истории, с парадоксами, со страстями. Потом решил писать серьезную прозу.

Но осенью шестьдесят первого года, решившей все за меня, тогдашнего, словно прозрел я и понял, что это — мое, что жизнь моя изменилась, что стал я другим отныне, — стихи начались.

И когда возвращался я в родительский дом, то и с грустью, и с легкостью на душе подходил я сызнова к письменному столу вишневого цвета, старомодному и такому для меня навеки родному.

Он потом оказался в сарае, вместе с рукописями моими прежних лет. Когда я недавно приезжал ненадолго к родителям, я так его и не видел...

...Живой клочок минувшего. Все то, что было — до и после — в письмах давних — сегодня в эту книгу не вошло. Все то, что было — до и после — в жизни — давно уже написанные книги — неизданные, изданные. В них — вся жизнь моя, нелегкая, родная, и все, что помню я, и все, что знаю, душа и сердце — на путях земных...

Может быть, это и сны. Может быть, и видения — мало ли их бывало! Может быть, вспышки воспоминаний — пусть оживет свет. Что бы там ни было, сон или явь, — быть заодно им. Вот и звучание, вместо молчания, — нить на пути, связь. Речь на клочки не разорвать, не разделить нас. Все это вновь — здесь, предо мной, все это вновь — там.

Ты спрашивал — как мы там жили. Ну что ж, пожалуй, об этом, о жизни южной, давнишней, я расскажу. Пора. Прежде всего, там было море. А это — главное. Потому что присутствие моря так близко, рядом, — важнее многого в жизни. Особенно — в молодости, когда можно и должно восстать из любых невзгод, из любых, даже самых тяжелых, бед. Море было — куда ни взгляни и куда ни шагни — повсюду. Близость моря — словно реальность, после трудных сражений, победы. Близость моря — словно возможность снова жить, и дышать, и петь. Близость моря — это, конечно, несказанная радость. И счастье. И блаженство. И вдохновение. Море — наши лечило раны день и ночь. И оно, могучее, неминуемое, огромное, нам дарило свою энергию, окрыляло нас — и спасало.

И земля таманская, дымная от несносного зноя, прожженная жарким солнцем, казалось, насквозь, но живучая, плодоносная, и воздушный путь облаков, движущихся из Крыма на Тамань, а потом к холмам, и к предгорьям, и к дальним вершинам, на Кавказ, к Эльбрусу, Казбеку, дальше, выше, потом — куда-то дальше, выше, совсем далеко и совсем высоко, отсюда не видать, можно только догадываться, можно чувствовать это, знать, по наитию, по чутью, где мосты в никуда и в завтра, где дороги в морскую глубь и в небесную высь, где начало всех дорог, земных и небесных, где конец, и где — продолжение неустанного, в мире, движенья, где горенье и где даренье, где биенье людских сердец. Этих лоз виноградных, гибких, завитки, тугие сплетенья, эти выплески, вслед за тенью отшатнувшейся, мыслей и чувств, эта тишь беспредельности, память, скифский дух и греческий привкус, готский оклик, сарматская глина, Русколанни великой свет, отыскавшийся в поле след, время Бусово, имя, знамя, все, что здесь мне явилось, пламя, семя где-то в глухой степи, свежий запах полыни, розы, над водою полночной грозы, слезы днем и ночные грезы, — засыпаешь? — еще не спи. Пробуждайся, вставай скорее, видишь — утро, над миром рея, говорит тебе о былом — или, может, о настоящем? — о грядущем? — доступном спящим? — или слову, там, за числом? Здесь с тобою — твои кануны, здесь бывали когда-то гунны, под луной сияли лагуны, поднимались к звездам холмы, лошадиное всюду ржанье раздавалось, Тьмутараканью поднималась жизнь, и за гранью всех набегов отзвук зимы уходил навсегда отсюда, оставляя здесь лишь для чуда вдосталь места, — и впредь я буду прославлять этот край, чей свет для души и для сердца дорог, мною принят без оговорок навсегда, побеждая морок всех минувших нелегких лет.

Скрипка где-то, как лилия, выросла, все, что было, с достоинством вынесла, на руках вдохновенья и вымысла возвратилась в небесную высь.

Роза вспыхнула песнею давнею, сохранила в ней самое главное, все родное, кровное, славное, — и над нею звезды зажглись.

Значит, музыка — не наваждение, а планет и светил рождение, злу, навеки, предупреждение: не мешай торжеству добра!

Все земное с годами сбудется, и бывшее отнюдь не чудится, — то-то рядом со мною трудится золотая моя пора.

Помню Керчь — и в летнем, вместительном, с необычно высокой, белой, разогретой солнцем оградой, зале или кинотеатре под открытым вечерним небом с пылью звездной — концерт цыган. Пела Ляля Жемчужная или Ляля Черная — точно не вспомнить. Да не все ли равно теперь? Ведь она была — именно Ляля! Как у Хлебникова, в его творениях, — Ляля на тигре. Чтоб услышать пение Ляли, ну а с ним — и гитары, и скрипки, перелезли мы через ограду и проникли вот так на концерт. И цыгане пели, плясали. И сияли звезды над нами, кочевые, конечно. И листья шелестели над нами. И ветер, теплый, южный, повеявший с моря, приносил с собою сюда отдаленные, новые звуки — рокот волн, гул стихии морской, завыванье сирен на судах, находящихся в море, гудки проезжающих где-то машин, отголоски мелодий, далеких голосов, мужских или женских, неразборчивые восклицанья, открываемых окон треск, звон стекла разбитого, смех, детский плач, непрерывный ропот, городской, прибрежный, приморский, видно, длящийся здесь давно, всем привычный, тысячи лет. А вокруг была — Керчь. Средоточье колоритных дворов узкогорлых. Во дворах этих — жарили мясо на мангалах, жарили рыбу, прямо с моря, живую, свежую, на чугунных, величиной с жернова, больших сковородках, разговаривали, готовили ароматный кофе, шутили, пели, пили, смеялись, ссорились, примирались, вели беседы душевные, лускали семечки, жили просто, все на виду друг у друга, словно в известных итальянских фильмах, но все-таки и по-крымски, очень по-своему, с незаемными, всюду, страстями, со своими привычками, с буднями, что сменялись какими-то праздниками, жили радостно, так мне казалось, люди керченские, особенные, необычные, люди приморские и морские, люди рыбацкие, сухощавые, загорелые, коренастые, с ветерком в голове, но и с трезвостью явной, люди гордые и простые, солнцем керченским налитые поднимая бокалы с вином, появляясь на шум за окном, как невольные стражи тепла и уюта, где жизнь весела и прекрасна, где горестней нет, где спасительный солнечный свет исцелял от недугов и зол, терпкий запах соков и смол, вздох блаженства и пот труда оставляя здесь навсегда для грядущих людей, чтоб впредь было им на что посмотреть, про припомнить, что сохранить, и вилась крученая нить сквозь года и века, прямо в рай, прямо в невидаль всех событий, чтобы мы, среди наших открытий, на прибрежный смотрели край, как на сказку, в которой впрок дан нам нынче, навек, урок жизни, веры, надежды, любви и всего, что у нас в крови, да и в памяти, оживет, — до сих пор меня Керчь зовет отовсюду, зовет к себе, став родною в моей судьбе, собеседницей давней став, — есть немало на это прав у нее, принимаю — все, пусть со мною, во всей красе, остается приморский град, тот, что был мне когда-то рад, что и впрямь легендой живой над порой встает грозовой, сберегая меня везде, доверяя моей звезде, щедрость буйную мне даря, чтоб над миром взошла заря новых судеб и новых дней, чтобы помнил всегда о ней. Все казалось настолько чудесным, что его и сравнить-то не с чем. Шли мы к морю. Вода зеленая пахла чем-то острым, соленым, терпким, крепким, как спирт. Медузы колыхались белесыми стаями среди камней. Осколками мидий был усыпан весь берег. Дельфины проплывали поодаль, взлетая над волнами и вновь ныряя в глубину. Древний храм вставал перед нами вестью о том, что и мысли, и речи наши, несомненно, материальны, как и время. Кричали горлицы на ветвях тополей и акаций. Вечерело. Уже повсюду зажигались огни. Над городом нависала сизая дымка, посте-

пенно темнея. Ветер незаметно стихал. Мы шли вдоль по улицам, наугад, наобум. Гора Митридат перед нами вставала. И мы поднялись на ее вершину. Там, из щели в камнях, шел газ. Я поднес горящую спичку к тонкой, тихой, шипящей, невидимой струйке газа. Вспыхнул огонь. Мы стояли, втроем, у огня. Над огнем. Сквозь огонь — глядели, вниз, и вверх, и вперед, и назад. Сквозь огонь. Над огнем. У огня. Пламя вдругросло. Потом стало ровным, спокойным. Там, на вершине, мы ночевали. Возле пламени. Как у костра. Утром — встали. Город под нами, полный жизни, уже пробудившийся, светлый, теплый, зеленый, звучал новой музыкой — нового дня, новых встреч, расставаний новых, новых будней, новых речей, новых празднеств — чуть погода, не сейчас, а потом, попозже, новых таинств и новых радостей драгоценного бытия. Корабли стояли на рейде, уплывали куда-то из порта, еле видные на горизонте, растворялись в синей дали. Море пело, сияло на солнце мириадами отсветов, блесков, то синело, то зеленело, глубоко, свободно дыша. Возвращаться нам было надо, на Тамань, из этого града, в нем для сердца была отрада, с ним сроднилась моя душа.

Феодосия. Удивительно. Так хотелось бы — зной, песок, полосой прибрежною, длинной, как размотанная чалма муэдзина, да минаретов свечи узкие в небе синем, да арабская вязь, да роз возрастающий, томный запах, да воды в фонтане журчанье, да ажурная, кружевная, на ветру восточном трепещущая, что-то нежное нам лепечущая, изумрудная и сквозная, разметающаяся, как в сказке — одалиска, желая ласки, шелестящая о былом или словом или числом говорящая о покое, вспоминая такое, от чего и в помине нет сна, листва, золотистый цвет ожерелий, перстней, серьга в ухе, красные, в кровь, кораллы, да турецкие адмиралы, да верблюды, к ноге нога, с колокольчиками, стада лошадей и овец, закаты над стеной крепостной, когда-то отзвучавшие навсегда, как напевов полынных строй, чай, дымящийся в хрупкой чашке, все удачи и все промашки, отсвет пламени за горой, отзвук времени за холмом, призывок имени за громадой града славного, быть отрадой предназначенного порой для того, кто жил здесь, кто пел, хрипловато, легко, протяжно, кто блаженствовал здесь валяжно, кто отважным стать не успел, потому что другие дни здесь настали, пришло другое, и действительно дорогое замирает вдали, в тени. Минаретов нет — но они обязательно будут. Годы пролетят — увидим всходы веры здешней, ее огни различим на башнях в ночи, и зеленое знамя пророка вновь поднимут. Людское око к огоньку восковой свечи вновь привыкнет. Придет ислам в эти дали — в конце столетия, и взметнется тугою плетью. И расколется пополам этот мирный, дремотный край. И начнется — кровей брожение, нарастающее вторжение орд пришедших — в недавний рай. Минаретов — нет. Или — есть? Есть, и много. Уже не счесть? По церквам — колокольный звон. Но кому теперь слышен он? Феодосия. Узкая, плоская полоса песчаных, пустынных, тихих пляжей, до самой Керчи. Что ж, подняться на башню? Смотреть на залив, изогнутый явным полумесяцем, длинным, широким? Очевидец эпохи, скажи, что ты понял и что услышал? Что хранимо в сердце твоём? То ли дикой маслины, лоха серебристого, мелкие, вязкие, ненароком плоды ты попробовал, то ли нечто иное вкусил? Ты стоишь на ветру — и молчишь. Пред тобою — соленая влага. Море Черное. Пенная брага. Глина сохляя. Камень. Камыш. Солончак. Но вдосталь садов плодоносных, по всей округе. Петли ветра — гибки, упруги. Столько было земных трудов, столько было небесных благ. Столько было знамений свыше. Ты стоишь, окрестные крыши различая. Делаешь шаг — и взлетишь куда-то. Куда? В поднебесье? Или к забвенью устремиться? Есть вдохновение — да лихие грядут года. Все придет в упадок опять? Все разрушится? Уцелеет? Ясновидящий — одолеет грань незримую. То-то вспять устремляются облака! Возвратитесь назад, вас много. Тень безвременья — у порога. Но за нами — стоят века чередою. Пред нами — путь. Непростой. Но идти нам — надо. Капля меда и капля

яда. Пригодятся когда-нибудь. Капля льющейся с гор воды. Пригуби — как она прохладна! Столь земля эта нам отрадна, что не видим новой беды. Или — видим? Зорче смотри. Зрение пристальней и острее станет. Стяги, над нами рея, ждут прихода новой зари. Феодосия. Как цвело все бывшее зубцами башни генуэзской, тоской вчерашней! И легко — и так тяжело. И темно — и светло вокруг. Что ж, понятно, ведь это — юг. И — восток. Да, Восточный Крым. Киммерия. Жестокий Рим побывал здесь когда-то. Что ж! Был любой сюда прежде вхож. Кафа. Кофе. Кефаль. В кайфу — город грез. Присядь на диване. Покури кальян. О кальяне помнишь ты. Поймай на фуфу хвост мгновенья. Времени ход постарайся замедлить ныне. Дым кизячный едкий в долине. Ключ от вечности. Клич. И — код. Тот, волшебный. Лампа. Сезам. Вход в пещеру. Сокровищ гряда. Пробужденье. Тоска по чуду. Ветви, бьющие по глазам. Откровения. Звездных карт стародавних тугие свитки. И — сомнения. И — попытки впасть, как прежде порой, в азарт. Может, выпадет нынче фарт. Порт. Мятающийся авангард волн. Фелюги на рейде. Бред? Брод в пространстве. Другого — нет. Лаз — сквозь время. Подземный ход. В никуда? К веренице льгот. Феодосия. Век — раним. Богом город — всегда храним. Город Богом дарован — нам. Верь — и яви, и вещим снам.

Помню стены домов, заборы, склоны горные, что-то вьющееся наверху, и шоссе внизу, и автобус, куда-то едущий по шоссе, а совсем внизу, далеко, глубоко внизу — зелень сосен и кипарисов, а за ними, конечно, море. Что же помнить? Да что угодно. Можно тысячу раз представить юг и Крым — но все-таки надо хоть единожды там побывать. Вот и мы побывали там, на приволье. И я побывал. И какие с нами случались приключения! — в наше время и представить трудно себе, что они возможны, реальны, так скажу я, поскольку знаю превосходно, что говорю. Начал я совсем не об этом, но — да в этом ли дело? Разве не в конце — начало всего? Не в начале — развитие темы, феерическая, фантастическая лента, полная фантазмагорий, книга, созданная однажды, бег сквозь время, птичий полет, ночи, дни, вечера, рассветы на холмах и в горах, прибой мерный рокот, лоз виноградных тяготенье к солнцу, к воде спуск нелегкий, крутые тропки, степи, травы, ручьи, долины, родники, террасы, аллеи, луч прожектора, лики звезд, вечной музыки нарастанье и грядущего прозреванье, тени зыбкие, шаткий мост, алыча, шелковица, вишни, груши, яблоки, вин столовых запах резкий, камешки, бухты, водопады, соленый пот, сладость, горечь, печаль и радость, свет нездешний, блаженство, счастье, зной полдневный, дожди, ненастье, пляжи, дачи, сырой песок, створки мидий, жемчуг в ладонях, рыбы, крабы, дельфины, чайки, крик петуший, глаза хозяйки, ахи, охи, улыбки, вздохи, возвращенье былой эпохи, воскрешение дружб людских, речи долгое созреванье, примиренье и расставанье, обещанья, воспоминанья, — чем сегодня заменишь их? Это мой, и надолго, Крым, и другого такого — нет. И не будет, увы. Засим — загорается ясный свет на пути моем. Знаю, вскоре вновь скажу я: там было — море.

Широкий, протяжный, рокошущий, клубящийся, плещущий, длящийся, может, час, может, день, может, год, может, целую вечность, раскат... Волна за волной, непрерывно, магнетически, целенаправленно, словно тянет их, тянет сюда какая-то властная сила, словно к берегу надо добраться им непременно, и поскорее, и разбиться с размаху, со стоном, с диким грохотом, о песок и о камни узких полос обезлюдевших пляжей окрестных, и опять откатиться назад, и потом возвратиться сюда, то нахлынут волнами кипящими, то отхлынут, образовав белопенные завихрения, круговые воронки, и вот, повернув обратно, идут грозным фронтом, прямо на вас, мой возможный читатель, на всех, в отдалении и вблизи от стихии, на все вокруг, чем известен и славен юг, вдохновляясь разбегом сим и сживаясь надолго с ним.

Так слушай и молча смотри, ни о чем не гадая, как море шумит или скалы трепещут, спадая туда, где пространство в другом измеренье встает, — ты помнишь, как жемчуг ушел, словно тельце моллюска? — и некого нам обвинить, и корить ни к чему, — и ящерка разом возникнет, застынет и слушает музыку, — некая суть для меня, похоже, ясна — этой бухты и этой эпохи, — и нечего мне объяснять — это взмах, а не вздох, — живет человек — вот и любит он море, большое, как в детских глазах, — да и море ведь любит его, — живет человек — предназначенный, — то-то простое утешит его — ну а сложностей вдосталь вокруг, — и век ему долгий, наверное, будет отпущен, чтоб жил, понимая, — храни его в мире, Господь! — живет человек — вот и любит он море — седое астральное действо на стогнах больших городов, на грани безумства иль таинства, — так и живет — и все тут — как выпало, вышло, сложилось, сказалось, — и жемчуг прохладный в ладонях его удержался — тогда ли? — в том августе — вспомним ли ныне? — тогда...

Радуга над округою. С круговою порукою. Все ее семь цветов — каждый хранить готов.

Пагода — над бездонною пропастью. Мгла соленая. Поворожила всласть. Музыка. Весть и власть.

Ведь есть на земле — поэт. Особенный. Небывалый. Другого такого — нет. И — не было. Так? Пожалуй. Тем более, речь его — вселенские связи. Тайны. Стихий — сквозь явь — торжество. И все это — не случайно. Над миром его — покров: с высот неземных. Небесный. Над россыпью звездных слов. Над жизнью, что стала песней. Над музыкой бытия. Над всем, что призваньем стало. Наития и чутья слиянье. Чудес начало. Движение дум и чувств. Служения продолженье. Сближение всех искусств. Прозрение. Постижение. Свершенный грядущих свет. Открытая днесь дорога. И есть на земле — поэт. Поэзия — дар. От Бога.

Не для себя. Для всех. Живущих надеждой, верой, любовью. Для всех живых. Для душ и сердец людских.

Вовсе не для себя говоря. Обращаясь — к людям. Слышат. Поймут. Придут. Ведь обозначен — Путь.

Голос. В который раз — пение. Прорицанье. Снова впадая в транс. Ввысь уходя — сквозь мрак.

Время с пространством — здесь, рядом. За ними — тени тех измерений, где встретимся мы — потом.

Ночь, за которой вдруг разом встает — сиянье. Жертвенность. Подвиг. Долг. Призванность. Весть и страсть.

Се — тот поэт. И с ним — празднество и единство сущего. Слову — быть. Сказанному — для всех.

Музыка. И мольба. Мистика. И молитва. Что же еще? Судьба. Денно и ночью — битва. С тьмою. С бездушьем. Зов. Крик. Или шепот? Лепет? Взгляд. За которым — кров. Шаг. За которым — трепет. Вызов. Любому злу. Кротость. И — крепость. Сила. Взлет и прорыв — сквозь мглу. Вздох по тому, что — было. Слава. Всему, что — есть. Право. На все, что — выше. Речь. Озаренье. Честь. Чужа. Внимая. Слыша. Полифония. Круг. Летопись. Откровенье. Светопись. Чистый звук. Рвенье. И — дерзновенье. Знак, различимый вмиг. Злак. Утоление жажды. Жизнь. И — страницы книг. Тех, что поймут однажды.

Ты твердишь мне о том, что было, говоришь о том, чего не было, непрерывно сопоставляешь что-то с чем-то, — зачем же так?

То, что было, куда-то сплыло, ну а то, чего вовсе не было, с тем, что было, соединилось, превратилось в звук или знак.

Все настолько было чудесным, не могло быть сухим и пресным, что давно устремилось к песням, оказалось на месте там.

Нет причины мне спорить с кем-то — ведь живая событий лента сквозь пространство прошла зачем-то, чтобы время постиг я сам.

Нить — у меня в руке. Выйду из лабиринта бед моих, отшумевших где-то, давно, вдали.

С нитью — понятие «быть» связано неизменно. К свету — из мглы, из мрака. Даже из-под земли.

Быть — это жить. И — петь. Быть — это знать. И — верить. Быть — и любить. Прозреть. В чаяньях — и речах.

Имя эпохи — здесь. В книгах моих. При звездах. В вышних. В юдоли нашей. В яви. И — при свечах.

Я стоял у моря, один, возле самой воды, весной, и смотрел, как еще не прогретые на солнце апрельском волны набегают, одна за другой, на пустынный берег, и слушал мерный рокот, неспешный плеск пробуждающейся стихии.

Позади, за плечами, было столько сложностей и событий, слишком тягостных для меня, что, казалось, они нарочно были собраны воедино кем-то злобным, жестоким, жаждущим поразить меня в самое сердце, нанести мне побольше ран.

Мне хотелось лишь одного, как и встарь, — покоя и воли. Мне с избытком хватало боли. Я держался, как мог. Ничего, постараюсь выстоять вновь. Не впервой. И похуже бывало. Гул безумного карнавала затихал. Но жива — любовь.

Да, жива. И живее — нет ничего, никогда, на свете. Вот и чайки в тоске о лете раскричались. И свиток лет развернулся передо мной. Список длинный всего, что было въявь когда-то. Меня знобило. В берег бились волна за волной.

Кто-то вел меня молча — сквозь боль. Очевидно, ангел-хранитель. Возвратился, приморский житель, я домой. Как морская соль, сквозь цветенье садов окрест, нависала сизая дымка над холмами, с далью в обнимку. Птичьи стаи срывались с мест, улетали куда-то. Шел час вечерний, как гость случайный, по земле, но куда? За тайной? Шаг — широк был, и взгляд — тяжел. Миновала меня беда? Что ж, похоже. Знать, есть защита от мучений. Окно — открыто. Высоко надо мной — звезда.

И тогда развернул я, решившись, этот свиток, незримый, но сызнава прозреваемый, свиток лет, и не чьих-нибудь, а моих, и взгляделся в него — и встали чередой передо мной, непрерывной, сплошной, видения лет минувших и дней недавних, детства, юности, всех времен, мною прожитых, всех имен отголоски, событий всех назревающее кипенье, голоса, нестройное пенье, чьи-то взгляды, негромкий смех, громкий плач, прощания, встречи, расставания навсегда, возвращения — отовсюду — в мир мой, личный, поближе к чуду, где, с природою рядом, буду жить затворником, — в мир труда, благодати, ночных бесед, может — с ангелом, может — с речью, чуя суть ее человечью и небесный, издревле, свет.

...И настолько было чудесно все куда-то идти да идти, не спеша, спокойно, — вперед, к новым далям, туда, в пространство, где клубились в небе, распаханном над верши-

нами гор, облака, где полынью пахло так терпко, горько, сладко, где придорожный куст шиповника звонок был от бесчисленных алых ягод, где гугукали горлицы, пели, посреди бескрайнего зноя, на деревьях какие-то мелкие, симпатичные, серые птички, где на крупных, замшелых камнях сонно грелись вконец разомлевшие, длиннохвостые, пестрые ящерки, где орел парил — надо всем, что внизу, для него, оставалось, — высоко в поднебесье, а ниже — пролетали быстрые, зоркие, острокрылые ястреба, и змея скользила пружинкой в камыши, и в кизиловых зарослях деловито, невозмутимо, непрерывно шуршали ежики, и цветы полевые таяли в раскаленном, горячем воздухе, как мазки акварели детской, и дорога, почти тропа, все вела меня, уводила в неизведанную страну, в мир мечты — или яви, так все на свете соединилось в нечто целое, дорогое, за которым вставала — жизнь, и моя, и чья-то еще жизнь и песнь, для которой нынче все пути и дороги — в радость.

В Старый Крым! Я шел — в Старый Крым. Обитал там когда-то — Грин. В середине шестидесятых, шел я, в зной, молодой, да ранний, в Старый Крым, дорогою Грина. Он по этой дороге когда-то иногда ходил в Коктебель, навещал там Волошина, был, хоть какое-то время, у моря. И по ней — возвращался обратно в Старый Крым. Вот и я шел по этой, не особенно трудной, дороге, летним утром, из Коктебеля, налегке, словно вместе с Грином, так тогда я воображал, а на самом деле один, в Старый Крым, чтоб увидеться там — нет, не с Грином, хотя, конечно, это было бы лучше всего и запомнилось мне надолго, навсегда, — а с его вдовой, опекаемой в те года приезжавшими к ней постоянно, помогавшими ей киевлянами, молодыми супругами Верхманами, благородными, самоотверженными и порядочными людьми, которых я знал, поскольку дружили они с моими друзьями тогдашними киевскими, — шел я, чтобы увидеться с Ниной Николаевной Грин, светлейшей, изумительной женщиной, старой, побывавшей во время войны в концлагерях немецких, ну а после войны — отбывавшей срок в советских уже лагерях, после всех испытаний этих, на свободе, вдосталь намаявшейся, но сумевшей в невзгодах выстоять, сохранить благородство, достоинство, гордость, верность Грину, который для нее был всем, и, отважно и упрямо сражаясь с косночностью всех властей, превратить старокрымский белый домик, в котором Грин жил недолго и умер, в музей.

Городок открывался внизу, как ладонь, широко открытая и протянутая, в знак приветствия, всем входящим в него. На севере возвышалась гора Агармыш, защищая его, и зимой, и весной, и осенью поздней, от холодных ветров. Городок был по горло в садах. Казалось, что выглядывают из густой, многослойной, обильной зелени лишь глаза его, жаркие, карие. Да, Восток есть Восток. И здесь ощущалось его присутствие. Ведь была здесь, в прошлом, столица ханства Крымского, славный Солхат, процветала культура, арабского, разумеется, толка, ученые наблюдали ночью за звездами, сочиняли стихи поэты, и Великий шелковый путь проходил здесь, а в небе над ним семизвездный Чумацкий Воз, проходил, ковш Большой Медведицы, галактической влагой полный, нависал, и шли караваны, то из Кафы, то снова в Кафу, где с фелюг и с прочих судов, порт просторный заплонивший до предела, сгружали товары греки, турки, венецианцы, чтоб везти их, через Солхат, на Восток, сквозь Среднюю Азию, сквозь пустыни и горы, в Китай, а потом возвращаться обратно, и кричали всю муэдзины с минаретов, и ржали кони, и верблюды сердито фыркали, и погонщики, собираясь в караван-сараях, возможно, вспоминали строки Саади знаменитые, «о, караванщик», и вздыхали: «Так не гони!» — и стекала с окрестных гор, по проложенным тонким трубам керамическим, чистая, сразу же освежающая вода родниковая, но с секретом, потому что с нею ведь смешивалась и роса, и журчали фонтаны в мусульманском раю,

и пели вечерами волшебными гурии, и для путников, и для местных, вопреки легендам и сказкам, не таких уж воинственных, жителей, нет, скорее, миролюбивых, — да и кто же нарушить захочет, самолично, райскую жизнь, если вот она, рядом, везде! — нет уж, лучше побыть в раю на земле, ну а что там на небе будет, с этим потом разберемся! — так и жили здесь, не тужили, и куда потом все девалось? — только думать о нем оставалось, вспоминать или воображать, но и то хорошо, — Солхат, как восточный незримый Китеж, неизменно присутствовал здесь, в старокрымской летней глуши, и присутствие это было и приятным, и грустным, и светлым, словно лунный свет над горами и долиной, словно услышанный где-то рядом, но словно вдали, незнакомый, меланхолический, притягательный, тихий напев.

Дудел в самодельную дудочку малыш белобрысый на лавочке у забора щелястого. В гуще широких, разросшихся вишен чирикали воробьи. Старушки с авоськами, полными буханок белого хлеба и пачками вермишели, из магазина шли, по дороге переговариваясь, по привычке, о том да о сем. Проезжал грузовик, фырча, поднимая пыль, исчезал торопливо за поворотом. Тарахтел мотоцикл с коляской. Промелькнули, шурша колесами по горячей дорожной пыли, два подростка на велосипедах. Вдоль сонных улиц тянулись, от столба до столба, и дальше, к другим столбам, провода. Широленные кроны окрестных, исполинских грецких орехов светились матовой зеленью на фоне иссиза-синего, кипящего солнечным светом, без единого облачка, небе. В городке шла своя, неспешная, по традиции, тихая жизнь. Мечеть Узбека вставала осколком средневековья, ислама дремотным отзвуком, над кровлями и деревьями, над бытом иной эпохи, как негромкое, но достаточно тревожное напоминание о том, что все возвратится, и довольно скоро, назад. Запущенные руины медресе, караван-сарая смотрелись, как декорация для фильма из прежней истории заглохшего, но не погибшего, живучего этого края. Прохожие редкие шурились на солнце, лускали семечки, говорили о новостях или молчали, курили, стараясь прийти поскорее из горнила жары домой. Городок был слишком уж будничным, чтобы в нем обнаружилось что-то необычное. Но, однако, необычного было в нем предостаточно. Приглядеться хоть немного было довольно, чтобы сразу же ощущалось приближение волшебства.

Я открыл калитку, вошел, распахнутый с дороги, во двор и направился к белому домику, что светился сквозь зелень листвы в глубине двора, но казалось — высоко, далеко, впереди. А из домика — шла мне навстречу, в светлом платье, с ковыльными, белыми волосами, с глазами, полными лучезарного света, с лицом то ли мученицы, то ли феи, то ли гриновской Фрези Грант, вся — сияние белое, Нина Николаевна Грин. И беседа наша шла, среди пения птиц, монотонного шелеста листьев, бликов солнечных, редких порывов полусонного ветерка, отраженья зеркального, в стеклах приоткрытых окон, двора с пестротой цветов, деревьев, неба синего, нас обоих, зазеркалья, далекого моря, близких гор, страниц незабвенных и любимых гриновских книг. И сказала мне грустно Нина Николаевна: «Грин для меня самым близким был человеком». Я молчал. И смотрел на нее. Сквозь ее седину, сквозь усталость, сквозь смирение, сквозь надежду на хорошее, там, в грядущем, проступала, нет, высветлялась суть ее, сокровенная, тайная, и какая-то нежная музыка в ней звучала, и я представлял их, супругов, вдвоем идущих, принаряженных, чинных, вдоль моря в Феодосии, или здесь, в пору трудную, в Старом Крыму, где соседи порой писателю вдруг дарили щепотки чая, потому что, старый чаевник, он работал всегда, поставив на столе два стакана чая, и курил, и никто тогда не тревожил его, и он жил, как прежде, в мире своем, создавая новые вещи, за которыми различал он, да и я различал все время, в ходе нашей беседы, свечение благодатное и целебное, доброту, любовь, и внимание, и отзывчивость,

и понимание, и терпение, и надежду, все, что было в сердце, в душе и в судьбе тяжелой Нины Николаевны. Нет, не хочу говорить. Помолчу, пожалуй. Посмотрю на нее подольше. И такой — навсегда запомню. Для сияния — даже речь не нужна иногда. Сияние — это вечность, сквозь расстояние от земли до небес, влияние звезд на путь юдольный, слияние судеб двух, негаснущих свеч.

...И когда, через годы, Нина Николаевна умерла, то супруги Верхманы, киевские, оказалось, отважные люди, раскопали ее могилу, где лежала она, вдали от могилы мужа, поскольку не позволили местные власти хоронить ее рядом с мужем, и холодной зимнею ночью гроб ее извлекли — и тайно (ведь при жизни дали ей слово сделать это) похоронили, как хотела она, рядом с Грином.

А сиянию — ни увяданья, ни забвенья, ни смерти нет. Вот оно, перед вами, сияние — на страницах гриновских книг...

Здесь же, в Старом Крыму, в годы прежние, жил еще один человек, уникальный, неповторимый, человек благородный, светлый, образованный, деликатный, с непростою судьбой, конечно, и действительно яркий, в молодости, ну а в старости — скромный, чистый и хороший русский поэт, избежавший чудом репрессий, от столицы, от жизни бурной, бестолковой, литературной или псевдолитературной, что намного вернее, пожалуй, норовивший держаться подальше, живший долгие годы в глуши — в Подмосковье, позже — в Крыму, и, наверное, этим и спасшийся, старокрымский затворник, Григорий Николаевич Петников, славный председатель земного шара, потому что ему когда-то передал этот титул друг его, собеседник, соратник, Хлебников.

И услышал я голос Хлебникова:

— Крыло европейского разума парит над его творчеством...

Помню наши беседы с Петниковым — и его, седого, высокого, сигаретным дымом окутанного, как утес облаками, сдержанного, но порою вдруг вспоминающего что-то важное, оживающего, заводящегося с полуслова, говорящего о былом, о друзьях своих, футуристах, и, конечно, часто, о Хлебникове, о минувшей прекрасной молодости, о поэзии, о художниках, обо всем, что он помнил и знал, не писавший воспоминаний, но с людьми, которым он верил, говоривший открыто, подолгу, очень искренне, и тогда все выстраивалось в его монологах само собою, время прежнее оживало, приходило мгновенно к нам, в дом с белеными стенами, где были книги, картины, рукописи, где поэт обитал, где в стеклах приоткрытых окон, бывало, отражались вечером лица незабвенных его друзей, где, конечно же, существовал тайный ход в зазеркалье, куда-то в глубь пространства и времени, в те измерения и миры, что мерещились иногда мне в тогдашней яви, где музы, словно пять сестер Синяковых, навещали поэта, где пел Божидар, где Чурилин, Асеев, Пастернак, Бурлюк и Крученых, Маяковский, Малевич, Филонов приходили в гости, как встарь, пусть и в памяти, где надежда не старела, вера все крепла, где любовь упрямо жила в сердце, бьющемся так же, как в детстве, с изумлением перед миром, словно сызнова вдруг распахнутым, призывающим жить, дышать, говорить, работать, смотреть вдаль куда-то, и вглубь, и ввысь, где созвездие Водолея, под которым родился Петников, помогало ему, хранило, на путях, земных и небесных, где осталось в негромких песнях все, что дорого сердцу было, что спаслось от невзгод и бед, что зажгло негасимый свет на земле, чтоб вспомнить о нем нынче, в августе, ясным днем...

И настолько было чудесно возвращаться назад, в Коктебель, но уже не пешком, потому что было поздно совсем, вечерело, и усталость дневная сказывалась понемногу, — а на попутках, по привычке, на перекладных, или, если вдруг повезет, на автобу-

се, до Насыпного, до развилки дорог, а потом — как получится, как придется, может, кто-нибудь, кто подобнее, посговорчивей, и подвезет, чтобы вновь не идти мне, страннику с посошком, на своих двоих, вдоль шоссе, в темноте, под звездами, долго, медленно, до Коктебеля.

Добирался, к ночи. Друзья приветчали меня. Вино появлялось. Все оживлялись. Говорили. Стихи читали. Забывали о том, что надо отдохнуть, немного поспать. Вспоминали об этом — под утро. Петухи в округе кричали. Расходились мы. Засыпали. Просыпались. И — к морю шли. Новый день — чудеса сулил. Да и годы все длил и длил. Годы шли — один за другим. Но — куда же? За дорогим. За бесценным. За всем, чья весть — из былого — светла и ныне. Пусть чего-то нет и в помине. Но истокам — хвала и честь. Но начало всего — со мной. И сейчас. Вот, пишу эти строки — сквозь блаженный свет на востоке, над сумятицей всей земной. Духа древняя колыбель, видно, спас меня Коктебель...

В Коктебеле — что в Коктебеле?

Что там было — в прежние годы?

Там царила Мария Степановна Волошина, в доме поэта обитавшая, принимавшая, приветчавшая только тех, кто понравился ей, кто пришелся по душе. Остальных — отвергала. Восседала в кресле, седая, с виду грозная, резкая, властная. Осыпала любимчиков милостями. Допускала, бывало, к себе. Вспоминала о прошлом. Читала, по традиции, словно с вызовом и властью, и судьбе, и всем нежелательным, непосвященным, оптом, людям — стихи Волошина, с неким пафосом, героическим и эпическим, наизусть. Иногда — говорила с нами, просто, искренне, миролюбиво, доверяя нам, поверяя сокровенное что-то свое, проверяя нас, тем не менее, между прочим, слегка, на прочность. Я читал ей стихи свои, те, что многие знали, тогдашние. И они ей все больше нравились. Шло к тому, что еще немного вот такого общения, тесного, с глазу на глаз, и стали бы с нею мы, наверное, крепко дружить. Но стеснялся я лишний раз беспокоить ее визитами, привычке врожденной своей никому никогда не навязываться, проявлять деликатность, знать меру, неизменно, всегда и во всем. И поэтому с ней общался я, год за годом, эпизодически, как придется, от случая к случаю. Впрочем, ежели все эти встречи взять да вспомнить, собрать воедино, то получится, что о многом рассказать бы мог я сейчас.

Я дружил в Коктебеле — с Марией Николаевной Изергиной. Безусловно, великой женщиной. Вот кто был душой Коктебеля! Вот к кому отовсюду тянулись люди творческие, да и все настоящие, все свои, так сказать мне хочется, люди. К ней, умнейшей, чуткой, отзывчивой, шел всегда я, как будто на крыльях над землею все время летел. И она встречала меня, невысокая и седая, вся сиявшая благородной, изумительной красотой. Говорить могли мы часами, совершенно не уставая. Ей читать стихи было радостью настоящей всегда, для меня. И она понимала стихи лучше многих. Она любила и ценила мои стихи. И ее суждения были тоньше, глубже, вернее всех остальных суждений. Она, словно музыка, все вбирала постепенно в себя — а потом, словно музыка, щедро дарила все, что в ней оживало, цвело, разрасталось, пело, звучало. Все, в жизни ее непростой было прежде, вдруг создавало поразительную основу для того, чтобы жить в ладу с красотой, с любовью, с каждым приходящим к ней человеком. Свет вечерний с ее веранды, прорываясь упрямо сквозь непогоду и дремучую косность советских, с жесткой сетью ограничений и границ железных, времен, проникал сквозь любые преграды и запреты, легко и свободно, узнаваем был в самых разных, в самых дальних местах страны, был спасительным для меня, сокровенным, в былые годы, сохранял дыханье свободы, был залогом того огня, что погаснуть не мог никогда, по-

тому что им согревались все мы, вместе, и прозревались наши судьбы, чтоб навсегда озариться всем, что сплослось, что сроднилось навеки с нами в Коктебеле, чье имя — знамя, что хранить нам потом пришлось, в Коктебеле, где выжил — дух, где и зрение острей, и слух, в Коктебеле, где речь — со мной, вместе с музыкою земной.

И настолько было чудесно оказаться, допустим, в Керчи. Там пахла морская вода чем-то соленым, зеленым, подводным, вдаль уходящим, к берегу приближающимся, колышущимся в туманной дымке, на солнце брезжащим, говорящим о том, что и вправду есть и другие страны, неизведанные, такие, о которых читал я в детстве, говорящим о том, что ветер разгуляться мог на просторе, и тогда закипали волны, поднимались, в пене, валы, паруса кораблей напрягались, как тугие мышцы, и в небе громоздились, клубились, реяли беспокойные облака, говорящим о том, что в штиль становилось море спокойным, неподвижным, влажно-зеркальным, и в нем отражалось тогда и прошлое, и настоящее, и даже грядущее в нем тоже могло отразиться, потому что за этим зеркалом обитали духи пучины, духи странствий, духи тоски по пространству, и время тогда то сжималось, то расширялось, и фрегаты сменялись эсминцами, теплоходы сменялись бригами, крейсера сменялись фелюгами, в непрерывном, безумном вихре перемен, и в порту смеялись моряки над недавними страхами, и рыбацкие лодки отважно уходили в пролив, шли к Тамани, а с Азова шли сухогрузы, с моря Черного танкеры шли, а внизу, под ними, лежали на песчаном, илистом дне, со времен войны, затонувшие корабли, катера, самолеты, и летали над этой бездной, с громким криком, белые чайки, приглашая меня, стоящего у воды, глядящего вдаль, в кругосветное путешествие, и на свет маяка ночами, вместе с птицами и мотыльками, что слетались туда отовсюду, выходили из мрака бывалые и выдавшие виды суда, и горела моя сигарета маячком у кромки прибоя, и поблизости поднимался, сквозь резную листву, древний храм, и сжималось тогда мое сердце, билось чаще, и музыка моря заполняла мой слух, и глаза увлажнялись, и я говорил о таком, что сказать было некому, кроме моря, и сонмы созвездий были сгустком всех космогоний и хранилищем всех гармоний, и пристанищем негасимого в этом мире бескрайнем огня, пусть с невзгодами, но любимого, и залогом нового дня.

А еще ведь была — Феодосия. До нее-то намного проще добираться из Коктебеля. В окруженье холмов сухих, с ожерельем залива. Кафа. Но приятнее говорить — Феодосия. И привычнее. Не случайно — Богом дарованная. Свежий бриз. Корабли в порту. На тенистых улицах — тихо. Даже в южных дворах, с высокими, из ракушечника, заборами, отдаленно напоминающими крепостные крепкие стены. Кружевные узоры акаций. Тополя, стоящие стражами давней тайны. Арабских сказок и мелодий из парка джазовых синкопических — за углом, за любым поворотом, слияние, смесь гремучая, круговорот лиц, улыбок, веселых и грустных глаз, шуршащих платьев, шагов по асфальту, афиш, фронтонов невысоких светлых домов, бликов лунного или солнечного, вперемешку, теплого света, отражения в зеркалах, отзвук имени, отсвет фонарный, створки мидий на берегу, на песке, широкие всплески набегающих, словно волны на просторные пляжи, нечаянных, незабвенных воспоминаний, не сравнимая никогда и ни с чем, безмерная грусть и на смену ей приходящая неизменная радость, слова о любви, о таком, что волнует, что тревожит, спать не дает, что ведет за собой куда-то в бесконечность, вот и идешь, видишь, слышишь, запоминаешь, неминуемо приближаясь если не к пониманию новому южной яви, то к постижению всех деталей ее и красок, всех красот, неброских, но стойких, всех низин и высот окрестных, всех, всего, навсегда, и вот это в сердце твоём живет, обживает, привыкает говорить по душам с то-

бой, ты бредешь незнамо куда, вечер хочет, как старый романтик, показать тебе что-то такое, без чего ну никак нельзя, ты, конечно, заинтригован, ты стремишься куда-то, но вдруг понимаешь, что вечер этот никакой не романтик, а мистик, и тогда возникает Грин, молчаливый, хмельной, прозревший там, поодаль, на горизонте, корабли с парусами алыми и «Бегущую по волнам», а ударник в кафе напротив так старается, так колотит по тарелкам и барабанам, словно цепь золотую кует, входят в транс музыканты, стонут, надрываясь, электрогитары, подъезжают машины, выходят стайки шустрых, нарядных девиц, вслед за ними выходят чинно Аладдины, Синие Бороды, атаманы разбойничьих шаек, лорды, рыцари и пираты, открываются двери, и все они исчезают внутри, но потом загораются всюду гирлянды разноцветных китайских фонариков, по аллеям проходят герольды, громко в длинные трубы трубя, и за ними Царица ночи выезжает на колеснице, запряженной шестью лошадьми, из лиловой тени на свет, вылетают, хлопая, пробки из бутылок с шампанским, дети хороводы водят, а взрослые пьют вино, произносят тосты, разговаривают, флиртуют, ночь густеет, звезды сияют ярче, ярче, оркестр играет, начинается карнавал, Грин проходит сквозь мешанину карнавальную, выбираясь прямо к улице Галерейной, не оглядываясь, идет к дому, где обитал он когда-то, исчезает за поворотом, я сворачиваю в переулок, в тишину, в глубину веков, в легкий плеск зеленых листков на деревьях, буквально в глушь, в серебристую, с искрой, сушь стен беленых, во влажный строй речи, ставшей ночной порой светлой музыкой вне времен. Может, явь, ну а может, сон...

Если сон — то, значит, во сне. Где-то в прошлом, на самом дне. Но — осталось, живет во мне. Появляется в тишине. Возникает порой ночной. Говорит — о былом — со мной. Плещет в окна сквозной волной. В настоящем. В глуши земной. Сновидения — наваждение. Вдосталь их. И они — светлы. Сновидения — пробуждение. Тайный ход — сквозь ушко иглы — в измерения и миры, что давно уж ко мне добры. Ариаднина вьется нить. Трудно свет на земле хранить. Трудно к свету сквозь мрак идти. Что встречается на пути? Кто встречается? Молча жди, что там, все-таки, впереди. Выбирайся — на свет. Огонь разожги. На твою ладонь звездный луч прилетит. Смотри. В пальцах сызнава разотри стебелек полыни степной. Видишь — море встает стеной белопенной над сонмом скал? Что утратил ты? Что искал? Что же ты наконец обрел? Долог путь твой был и тяжел? Или легок был? Ну, скажи! Нить покрепче в руке держи. Помни, спящий, о том, что встарь прозревал. Проходи сквозь хмарь в дни, где был ты молод и смел, в сны, где жил ты порой и пел, в явь, с которой сроднился ты, где воздушные знал мосты, строил крепости из песка, где томила тебя тоска по неведомому вдали, где мерцал в золотой пыли заоконных красот узор, где с окрестных слетались гор стаи птиц, чтобы петь с тобой, где вблизи рокотал прибой, где являлись тебе слова, чтобы знал ты: душа жива.

Керчь. И в ней — ресторан, с таким же лаконичным названием: «Керчь». Ну а в нем — триста блюд из мидий. Так — реклама гласила. Так — уверяли всех, в том числе и меня. Шашлыки, салаты и так далее. Это надо же! Целых триста блюд. Все — из мидий. Так ли было на самом деле, я не знал. Но решил зайти в ресторан. Попробовать мидий. Не любитель был я ходить в годы прежние по кабакам, да и денег было в обрез. Но рискнуть — захотелось. И вот появился я в ресторане. Заведение было вовсе не шикарным. Ничем особенным среди прочих не выделялось. Что-то вроде большой столовой. Или средней руки кафе. Посетители — ели, пили. Оказалось, что блюд из мидий там немного, пяток всего. Но никак не триста. И стоили все они неслыханно дешево. Заказал я шашлык из мидий. И попробовал. Ничего не нашел я такого в нем, чтоб считать его кулинарным откровением или шедевром. В Коктебеле, в бухтах, мы сами собира-

ли мидий. Потом небольшой костерок разжигали. На простом железном листе нагревали мидий. И — ели. Запивали — вином домашним. Было вкусно. И все были сыты и довольны. Не то, что здесь, в ресторане. Поэтому я, пожевав хваленый шашлык ресторанный, ушел оттуда. Но легенду — решил сохранить. Говорил знакомым, что есть ресторан в Керчи, где готовят триста блюд из мидий. Мне — верили. Да и сам я поверил в это, постепенно, с годами. Пусть торжествует воображение. Керчь, и в ней — триста блюд из мидий.

Керчь. И в ней — гора Митридат. На горе — кафе небольшое. На отшибе. Как птичье гнездо, наверху. Высоко, над городом. А в кафе — ансамбль, небольшой, как само кафе, но зато он играл — настоящий джаз. Заходить в кафе я не стал. Было слышно мне и снаружи всю чудесную музыку, классику столь любимого мною джаза. Да и денег почти ведь не было. Так, десяток, всего-то, рублей. На питание, на дорогу. И поэтому я сидел на вершине горы, не в кафе, а поблизости, на камнях, отпивал по глотку, из горлышка, по пути, в магазине, купленное, для хорошего настроения, столовое, очень дешевое, но и вкусное, надо заметить, настроение улучшающее с каждым новым глотком, вино, шурил глаза на солнышке заходящем — и слушал джаз. Город, лежавший внизу, напоминал мне Трою. Почему? Да так мне хотелось. Так его я воображал. Трою — в пору расцвета. Русскую, знаменитую Трою-Троицу. До прихода туда ахейцев, уничтоживших древний город. Может, это был отзвук Трои. Дальний отсвет, спустя столетия. Может, звук ее. Может, призыв. Может, музыка, что пришла из-за моря, издалека, из былого, — и здесь осталась — обитать и звучать. И в ней — было все. И Гомер-Омир, он же русский поэт Боян, создавал свою «Илиаду». «Одиссею» — создали греки. Кто конкретно — поди гадай. Неизвестно. В ней все — другое. Строй. И дух. Решительно все. В «Илиаде» же — русский дух. И мышление — стержневое. Потому что — исконно русское. Отыскался в архиве Державина через годы — «Боянов гимн». Жив ты, значит, великий троянец. Славен будь — во веки веков. Отыскались бы где-нибудь сочинения Анахарсиса, замечательного поэта, как считали и греки, и скифы, земляка моего, из наших приднепровских, южных степей, сплошь полынных, царевича скифского. Да, из наших родом степей и король Артур, скиф, ушедший, на военную службу, в Британию, и волшебник Мерлин — Свинельдом его звали на родине — волхв, чудесами островитян изумлявший когда-то скиф. И шотландцы помнят: они — из Великой Скифии выходцы. Так что предки далекие Лермонтова — тоже были в древности скифами. То есть, русскими. Потому что скифы, русские и остальные, перечисленные Геродотом, а потом и другими историками, на пространстве огромном, народы, как бы их там ни называли, — это древний, единый народ. Вот какие мысли меня посещали, покуда я слушал джаз отличный на Митридате. А потом я спустился вниз, в город, пахнувший морем, и слушал, весь в порыве, почти в полете, словно я вот-вот поднимусь над землею, иную музыку — романтическую, конечно же, скажет кто-то, — ну, пусть и так, но на самом-то деле — сложную, с контрапунктом, в котором было разом собрано все наперед, что случалось со мной потом. Керчь, и в ней — прорастанье дней, что меня призывают, сильнее, с каждым часом, столь властно, вдаль, где изведаю я печаль по ушедшим своим годам, что вернусь к ним потом, а там — будь что будет, — фригийский лад, вещий сон, мимолетный взгляд, обостренный, сквозь время, слух, обретенный, в скитаньях, дух, все, в единстве своем, со мной будет рядом в тиши ночной.

И, конечно же, Феодосия. Что, во сне? Почему бы и нет! Вот она, как раскрытая книга. Или свиток? И то, и другое. То ли каменные цветки генуэзских башен внезапно распустились, всю расцвели на холмах, в отдалении мгlistом, с бирюзовой жилкой, сиреневом, серебристом, от изобильных листьев диких окрестных маслин, то ли ста-

ла расти в длину, в высоту крепостная стена, защищая что-то заветное, сокровенное, то, что когда-то мне доступным было, но вдруг отодвинулось, потускнело, мне оставив надежду на то, что когда-нибудь вновь оживет, возвратится, преобразится, станет ближе еще и дороже, вдохновляя, смущая, тревожа, то ли порт переполнился вдруг отовсюду сюда приплывшими кораблями, то ли полынь у дороги, емшан-трава, мне напомнила о родном, но кричат над заливом чайки, и плывут вдоль берега лебеди, и песчаные полосы пляжей заливают волны с разбега, бьются в мол, рокочут, клокочут, непрерывно, грозно шумят, заполняют собою все, что заполнить можно, и там, далеко, еще далеко, нарастает девятый вал, чтобы разом подняться вдруг, во весь рост, исполином пенным, над пространством, и грянуть вниз, и разбиться на миллионы влажной ртутью сверкающих брызг, а потом откатиться назад и подняться, упрямо, круто, доказательством непреложным силы, власти безмерной и ярости беспредельной стихии морской, а потом — наконец успокоиться, подобреть, неспешно плескаться в поле зренья, тихо вздохнуть о недавней мощи своей, до поры ушедшей до времени в потаенные обиталища всех страстей, — и узкий, прозрачный полумесяц в небе проклюнется, как птенец, и горлицы стаяй прилетят, гугукая громко, на деревья и кровли, и вечер незаметно в город придет, а за ним и ночь, а за ночью будет утро, за утром день, оживленный, свежий, раскинет все красоты свои на коврах, как сметливый купец заезжий, призывая людей посмотреть, что же есть у него с собой, что привез он сюда, и что же есть еще у него в запасе, и придет к нему современность, вместе с тем, что уютится с краю, что таится, еще не смея говорить о себе в открытую, не решаясь в глаза смотреть и новациям вопиющим, и остаткам той старины, что назвал наш поэт глубокой, и посмотрит сперва на солнце, а потом на море, потом на людей, и возникнет — слово, точно птица, на горизонте, прилетит сюда, и за ним, стаяй птичьей, возникнет — речь, и тогда-то заговорят явь и сказка, и все вокруг, настоящее, и бывшее, и грядущее, потому что зарождение его — вот здесь, в этом городе, в этом сне, в поздний час, в ночной тишине.

А еще ведь были — Судак, Новый Свет, Южный берег, Ялта, Севастополь, Бахчисарай... Может — сказка, а может — рай. Были? Есть. Расскажу потом. Если вспомнятся. Если сами вдруг появятся. С чудесами. Чтоб встречать их с открытым ртом. С изумлением: вот, пришли. Не забыли меня. Покуда на земле не стареет чудо, быть и речи — для всей земли.

- Кто ты? Спящий? Или проснувшийся?
- Раньше — спящий. Теперь — проснувшийся.
- С добрым утром!
- Да, с добрым утром!
- Что ты будешь делать?
- Вставать. Умываться. Пить чай. Потом...
- Что — потом?
- Буду снова работать.
- А зачем? Кому это нужно?
- Нужно — мне.
- А тебе — зачем?
- Чтобы жить.
- Значит, хочешь жить?
- Да, хочу.
- Ну, тогда работай.

- Что ж, спасибо на добром слове.
- Я сказал тебе доброе слово?
- Безусловно, сказал.
- Какое?
- Ты сказал мне: тогда работай.
- Где же доброе слово здесь?
- В интонации.
- Разве?
- В тоне.
- А еще?
- В твоей неприкрытой, но легко различимой иронии.
- Разве я говорил с иронией?
- Да, с иронией.
- А доброта? Ты ведь сам ее ощутил!
- Доброта прошла сквозь иронию, словно солнечный луч сквозь оконную занавеску, и, осветлив суть, укрепились и победила.
- Ну, дела! Признаю поражение. Исчезаю. Сегодня — сдаюсь.
- Прощай.
- Я еще вернусь!
- Что поделаешь? Ты — наваждение.
- Ты ответишь за осуждение!
- Наваждение, сгинь! Ответ — вот он, рядом, — солнечный свет.
- Жжет!
- Еще бы ему не жечь! За меня заступилась — речь.
- Ох, горю! Почему он — так?
- Разгоняет крошечный мрак.
- А меня не погубит? Нет?
- Но прогонит. На то и свет.

Сгинул этот, из темноты, со знакомой лиловой рожей, на крутое словцо похожей. Я со светом — давно на ты. Свет, спасибо тебе. Опять выручаешь ты, и спасаешь, и в беде меня не бросаешь и теперь. Не идет ли вспять время? То-то шутил Дали с подсознанием! То-то кто-то перепутал и впрямь щедроты и утраты. Куда вели эти тропы, которых я проторил когда-то немало? Что мешало и что внимало — там, на краешке забытья, там, за гранью, чей фаской шрам на руке оставлен? Что стало прозреванием? Где начало всех невзгод? Где истоки драм? Нет ответов? Ну что ж, рванусь прямо к свету. И с ним — в дорогу. Но куда? Подожди немного. Отдохнешь и ты. Я вернусь. А пока что — туда, вперед, в мир, который дарован свыше, чуя, зная, мечтая, слыша все, что жизнь насовсем берет, все, что дарит мне навсегда, чтоб сказал я потом об этом, чтобы жил я в родстве со светом в дни — пришедшие этим летом, вместе с давним моим обетом, — одиночества и труда.

Кто ты? Где? Почему сейчас вспоминаешь снова бывшее? Словно слезы текут из глаз, ночь стечет прозрачной смолой в море. Ветер сюда придет, принесет дыхание влаги. И, наверное, сам найдет, полон мужества и отваги, через годы воздушный путь тот, кто пел на пути тернистом. Время осветит солью суть. Сердоликом и аметистом замирают вон там, вдали, знаки памяти и печали. Жили — трудно. И петь — смогли. Что же было, скажи, вначале? Слово. Да. Было — слово. В нем — продолженье всего живого. Даже в этой игре с огнем — дорогого, навек родного — с тем, что вырвать-

ся норовит, словно чуждый призыв, из лада, чей изменчивый внешний вид разглядеть и в потемках надо, чье лицо под маскою скрыть не удастся на карнавале всем, кто искренне, может быть, верил в то, что понял едва ли, — даже в том, что за словом есть, вырастает новое слово, слово-знание, власть и весть, что добратся сюда готова, слово-тайна и слово-знак для мгновенного пробужденья чувств и мыслей, щедрот и благ, дней продленья и книг рожденья.

Настоящее. Состоящее из былого и тех мгновений, что проходят прямо сейчас. Настоящее. Предстоящее пред грядущим. Сущее. Спящее. С чудесами — и без прикрас. Пробуждающееся. Живое. Шелестящее днесь листвою. Говорящее: кто бы спас? Настоящее. Вновь таящее что-то важное. И молящее: не забудь меня! Поздний час.

Кто-то вышел из темноты. Ночь окутывает растенья свежей влагой. За каждой тенью вырастают, толпясь, цветы. Как их много! Любой цветок — откровение и отрада. Мирозданья встает громада. Север, запад, юг и восток ждут, когда же напомнят им о таком, что откроет шлюзы всем, плывущим туда, где музы прячут лица от новых зим.

...Города приморские, крымские. Города, городки, поселки. Нет, не точки на карте, не пятна, не цепочки ночных огней. Так случилось, что керченский светлый, чуть крошащийся камень, ракушечник, и струящийся из-под земли, невесомый, прозрачный огонь, так случилось, что лица идущих в порт куда-то, к себе, моряков, так случилось, да, так получилось, что и город, со всем его, южным и восточным, прибрежным, заморским, вроде близким, на деле далеким, обволакивающим туманом, — отодвинулся, сник, а потом возвратился решительно вспять, — и остался — конечно же, тем, столь знакомым, тогдашним и днешним, да и вечным, — таким, каким его я, скиталец, еще не отшельник, вдохновляясь, давно уже ждал. Ведь и я там бродил когда-то, пел о чем-то, смотрел на море, и сказать не мог, что же все-таки, если что-то все же возможно, хоть когда-нибудь да проявится, хоть когда-то произойдет. Было море, на нем — корабль. Было то, что почти навсегда уходило уже, уплывало. И в безбрежности этой незнаемой, в этой четкости, ясности строгой каждой, пусть и мельчайшей, детали, видел я неизбежный покой. Ничего, что под крышей и даже во дворе, повсюду лежали обломки античных, подлинных и совсем не имеющих, вроде бы, прочной связи со всем окружающим, отрешенно белеющих мраморов. Ничего, что дожило, и сухость, сухость в горле, всегда оставалась. И гора Митридат оставалась, как и прочие горы, горою. Может, в ритмах времен растворились отголоски мелодий знакомых, — но, однако, оркестр зазеркальный вдруг, неведомо где, заиграл. И уже то ли вверх поднимались, к неизменно высокому небу, сразу все корабли, и флотилии, и эскадры, и всех их армады, то ли вниз опускались, куда-то к беспокойно молчащим глубинам, то ли вдаль уходили, но были, несмотря на причуды зрения, или, может, воображения, сквозь кристалл магический изредка высветляясь, повсюду рядом. И огни на холмах, и звучащие мерным гулом пространства раковины, и густые, косматые водоросли, и медузы, и крабы, и рыбы с отраженьями звезд на чешуйчатых, серебристых, скользких боках, и дорожная пыль, и птицы, и далекое все, и близкое, и плавучее, и плакучее, и тяжелое, и воздушное, и такое, чему названия не придумал еще никто, — все клубилось и вдруг свивалось в шар, в клубок впечатлений, чувств, ощущений, прикосновений к неизбежному, оставалось несомненным, живучим, крепким, долговечным, — я это знал. Может, в тихой феодосийской полудреме дневной, когда обвисает листва на деревьях от жары, и вода журчит приглушенной, и в море штиль, может, вечером, в час, когда начинают мерцать цветы фосфорическим отраженьем отдаленных огней, когда мягче звуки и знаки

чего-то назревающего поодаль притягательнее, чем днем, я услышал слова о несбывшемся, и запомнил их, и храню где-то в памяти, глубоко, но звучат они и сейчас. Может, в Ялте, в порту, когда провожал я там корабли, я увидел глаза нежнейшей и вернейшей из всех, кого знал потом я, прекрасной женщины, — и остался ее внимательный, понимающий, чуткий взгляд и доселе в сердце моем. Или, может быть, в Севастополе я почувствовал дыханье пространства. Или времени ход ощутил в Херсонесе. А может, в Гурзуфе различил протяжное эхо дальней музыки. Что мне сказать? Берега — мою речь берегут. Да и речь — всегда берегиня. Надо будет — вновь призовут. Ведь живому — не до гордыни. Ведь живое — сама благодать. Радость с грустью в дружбе давнишней. Для живого — никто не лишний. Остальное — не передать...

...Представьте себе огни — вдали, и вблизи — огни: цепочки, скопления, россыпи, и — темные очертания приближающегося неспешно, продолжающегося — и вправо, и влево, и вглубь, туда, где угадывается гряда крутолобых гор, а за нею — еще гряда, и еще, раздвигающегося, как веер, завораживающего зрение, обостряющего — да так, что становятся вдруг слышны все оттенки малейшие звуков, составляющих нечто единое, неразрывное, неизъяснимое в красоте своей непостижимой, но родной и знакомой, — слух, раскрывающего какие-то потайные оконца в памяти, заставляющего внезапно биться громко и часто сердце, — очертания крымского берега. Приближение берега — с моря. С корабля. С любого суденышка. Вид на берег. Вхождение в порт. Возвращение. Но — куда? Может — в юность. А может — в этот южный, крымский, роскошный вечер. Может — в сон? Я не сплю, поверьте. Это Ялта? Неужто? Да. Пальмы, набережная, платаны, галереи, балконы, ярусы нависающих друг над другом, словно спелые гроздья невиданных, экзотических, ярких плодов, сквозь листву, то резную, то плотную, сквозь прозрачные струи воздуха, легких, светлых, узорных домов. То ли есть в этом что-то испанское, то ли пенится, как шампанское, жизнь на южном, с приездами толпами отдыхающих, берегу. Вечер пышет энергией бурною. Изумрудное и лазурное — вперемешку, как хвост павлиний. И соблазны — на каждом шагу. И — глаза, широко открытые, женщин, шествующих со свитой карнавальной, своей защитой от реальности — там, где им предстоит обитать, уехавшим после отдыха в города свои, где волшебных чар не доищешься посреди бесконечных зим. Это — Ялта, сплошная блажь, наваждение, сон, мираж, южный вечер, входящий в раж, дрожь в коленках, азарт, мандраж, чушь, фантастика, бред, просвет в гуще серых, безликих лет, сказка, притча, легенда, вздох всех традиций и всех эпох по надежде и по любви, счастье, радость, огонь в крови, свежий ветер, тоска, жара, холод лунный, провал двора, завихрение белых стен, стон из парка и кровь из вен, серебро, золотистый блеск, горя омут и моря плеск, балюстрады, цветущий круг, запах роз и ключи из рук на асфальт, и горячий след поражений всех и побед, кипарисы, рискованный ход, гул элегий и рокот од, нашей жизни крутой замес, ожидание любых чудес, обещанье любых щедрот, шелест листьев, струенье вод, лепет губ, восклицанья, смех, дерзость, грех, доброта, успех, обаяние и беда, расставание навсегда, обретение новых мук, встреч случайность, клубок разлук, нить, протянутая вперед, шаг тревожный за поворот, взгляд усталый на все вокруг. Это — Ялта, и это — юг. Почему я вспомнил ее? Потому что вело — чутье. И — наитье. В который раз! Рай, мелькнувший у самых глаз...

...И когда я открыл глаза, то увидел, что ветка шиповника, по которой вверх поднималась, обхватив ее цепко, плетя незаметно за лето разросшегося во все стороны, темно-зеленого, жить желающего плюща, за моим окном покачнулась под напором довольно свежего, налетевшего ветерка, но потом, чуть помедлив, снова, точно вдруг спохватившись, выпрямилась.

И тогда я вспомнил о том, что давно, так давно, что это слишком долго дремало в памяти и проснулось только сейчас, шел я в бухты под Кара-Дагом, по тропинке узкой, петляющей, то сбегаящей вниз, то вверх поднимающейся, чтобы там, отдышавшись слегка, опять, вниз и вверх, упрямо бежать — и меня потом привести наконец-то прямо на место.

Полагаю, что этого, нынче, так, по вспышке, как я привык приговаривать, воспоминания мне, седому, вполне достаточно, чтобы стало мне с ним, возникшим вмиг, случайно, из ничего, показаться может кому-то, а на самом-то деле — из утреннего, мне глаза приоткрывшего света, сразу как-то теплей и светлее в мире этом, на склоне августа, в Коктебеле, в доме пустом.

...Жаль, что лето снова проходит. Что же было нынешним летом? Я работал. Был всем обетам — верен. В сердце рвалась тоска. Я старался держаться. Было мне несладко. Не потому ли мне запомнился день в июле — и стрекозы, и облака?

Вот и запись об этом. Пусть мне и нынче развеет грусть.

Облака надвигаются с запада, заволакивают синеву, густеют в горячем небе, клубятся, меняют окраску, и цвет переходит в цвет: белесый — в чуть синеватый, молочный — в бледно-лиловый, сметанный — в туманный, сквозной, — и вся эта масса движется, и вся эта зыбкость дышит, и вся эта гуща бродит, ворочается, встает и крепнет, как будто брага, — и видеть ли в этом благо? — и ждать ли дождя? — не знаю, по мне — так пускай придет.

Стрекозы — повсюду, их множество, глазастые, гибкие, маленькие, недавно вдруг появившиеся, — летают среди ветвей, сидят, как из воздуха сотканые, загадочные создания, на листьях и на цветах, на белье-вых веревках, взлетают, вибрируя крылышками, смотрят вокруг с любопытством, по-детски, — им, видно, нравится вживаться в июльский мир.

Подобие марева в небе. Обрывки музыки. Ветер. Простор над Святой горою. Стрекозы и облака.

И день в середине лета особым наполнен смыслом. И вечер придет, прохладный, означенный полнолунием. И мысли взлетают — к птицам, стрекозам и облакам.

Не тебе говорить, что город, этот гриновский город приморский, незабвенный, не существует, ибо вымысел он, — он есть. Не тебе говорить, что это плод фантазии, да и только, — надо просто упрямо верить в то, что можно в пути обрести.

У меня что ни шаг — то радость, у меня что ни взгляд — то новость, что ни день — то новая повесть о неведомом и родном. Нет причины — забыть об этом. Так отраднo дружить со светом, находить, и зимой, и летом, то, что рядом, в раю земном.

Этот город расскажет о море, о медузах и рыбах, плывущих в синевато-зеленой воде, в завихрениях плещущих волн. Этот город расскажет о небе надо мной, неизменно высоком, где созвездий скопления сияют драгоценным, далеким огнем.

Неизбежность и невозможность, несомненность и непреложность, простота, за которой — сложность, риск, сменяющий осторожность, непрерывно связаны здесь меж собою, здесь все — в единстве, прочном, давнем, неистребимом, все — в гармонии, навсегда.

Пой, скиталец, о том, что видел, пой, затворник, о том, что слышал, пой, отшельник, о том, что знаешь, что открылось тебе, когда прозревал ты чудес истоки днесь, в часы своего труда.